Сны нездѣшніе

(Къ двадцатипятилътію кончины В. С. Соловьева)

Здёсь Вы нездёшніе Вёрные сны.

В. Соловьевь.

Въ каждомъ человъкъ самое цѣнное — ето его собственный, неповторяемый и единственный въ мірѣ обликъ, какъ физическій, такъ и духовный. Тоже можно сказать и о семьяхъ, во всемъ ихъ многообразіи. Но бывають семьи, исключительно своеобразныя, даже необыкновенныя по своемъ чертамъ и по своему значенію для окружающихъ.

Такая совершенно особенная, ни на какую другую непохожая была семья Соловьевыхъ.

И не потому, что въ числъ ея членовъ были: отецъ — знаменитый историвъ, старшій сывъ — популярный въ шарокой публикъ романистъ, второй — Владиміръ Соловьевъ, третій круппый по своему моральному значенію и вліянію на окружающую писательскую молодежь педагогъ, издатель и переводчикъ, младшая дочь извъстная поэтесса, писательница и художница, еще одна, тоже причастная къ литературъ, авторъ восноминавій о своемъ братъ Владиміръ, лучшаго и наиболью правдиваго, что написано о нечъ; не по этому признаку, эта семья замъчательна, а по общему своему душевному и умствевному облику, по яркой оригинальности, по душевному своему богатству.

Такъ и значение для русской и европейской умственной жизли наиболье крупнаго изъ Соловьевыхъ, Владимира Сергъевича, по ограничивается ни его ролью ученаго и философа, ни поэтическимъ его творчествомъ, ни вліяніемъ въ области общественной и политической, ни даже его работами религіозными.

Весь онъ—со своей тонкой и высокои фигурой, блѣднымъ лицочъ и курчавившимися сѣдоватыми волосами, со своичъ нелѣпымъ, совершенно единственнымъ смѣхомъ, со своими глубокимя чудесными глазами, быль благородень и необыкновенень. Мой брать, философъ Лонатинь, ровесникь и съ ранняго дълства другъ Владиміра Соловьева, говориль про него: есть люди, сдъланные изъ чистаго драгоціннаго камня, — такая душа у Володи Соловьева.

Семьи наши были очень близки, настолько, что почтенная, весьма извёстная въ Москвъ старушка, остатокъ умершаго славянофильства, пресерьезно доказывала мив, что Соловьевъ мой двоюродный братъ, и рекомендовала обрагаться за справками къ моимъ родителямъ.

Братомъ онъ мнв не быль, но быль чёмъ-то не менёе близкимъ, и не мнв одной, а всёмъ памъ; кбо воспоминанія дётства, впечатлёнія юности и всей жизни, взгляды на жизнь и ея смысль были у насъ въ значительной мёрт общіе.

Общею была та духовная атмосфера, которой мы дышали, на чиная съ «дътской» — какъ бы ни различны были пути потомъ.

Можеть быть именно потому мей особенно трудно изобразить его во всемь его объективномъ значения. Одна очень просвъщенная католичка (образованные католики всё чтуть его) спра ведливо сказала мей: Vous l'avez trop connu, pour le bien connaître.

Но 31 іюля въ девять часовъ вечера всполнилось двадцать цять леть со дня его кончины, въ обстановке необыкновенной, какъ вся его жизнь, и вполив этой жизни соответствующей. А 24 августа минуль годъ кончины въ Россіи, въ больниць, его меньшой сестры, которую мы всегда считали более всехъ внешностью похожей на него, а въ существъ своемь, какъ и онъ, совершенно своеобразной, — моего друга Поликсены Соловьевой (Allegro). Она была последняя — все Соловьевы, члены этой многочисленной семьи, ушли. Всв они умерли. По эту сторону черты, отделяющей насъ отб России, -- мало квигъ, источниковъ и совершенно нать старыхъ писемъ, дневниковъ, записей, всего того. что воскрешаеть прошлое. Воть почему, не сомитвалсь, что місто, которое занималь Соловьевь не только вы русской, но и во всемірной мысли, будеть въ свое время очерчено въ должной полноть, я сочла себя обязанной написать все последующее, --подвинься тымь, что я знаю объ этомь замычательномы человыкь.

Воспоминанія мой о немъ таковы, что я совершенно не могу не касаться въ нихъ его сестеръ, семьи вообще, а попутно и нашей семьи, нашихъ двухъ старыхъ «домовъ» — съ домочалцами, гостями и всёмъ ихъ особеннымъ, уходящимъ теперъ все нальше бытомъ. I

Мы были одной изъ первыхъ семей Москвы, начавнихъ вздить лътомъ на дачу. Это до нъкоторой степени было новшествомъ, конечно потому, что огромное больщинство тогдашней « интеллигенціи» принадлежало къ сословію дворянъ, помъщиковъ, которые и жили по своимъ вмъніямъ. Отецъ мой быль изъ первыхъ судей новаго суда Александра II, имълъ для отдыха лишь краткій «вакатъ», всего щесть недъль. Мать моя была бользненна, бракъ ихъ уже и тогда считался исключительнымъ и возбуждалъ удивленіе, — родители мои никогда не разставались. Кромъ того, мать моя съ нъкоторымъ презръніемъ относилась къ помъщиньей средъ и не любила деревню.

Подъ Москвой, за Петровскимъ Паркомъ, въ чудесной мѣстности, съ лесами, обрывомъ надъ рекой, прудами, старинными, барскимъ домомъ и перковью — расположено Покровское, имвніе вь то время Гльбова-Стрешнева, безногаго старяка, которато возили въ кресль. На большой дорогь, впоследствии шоссе, называвшемся Ильинскимъ, по имънію Государя верстахъ въ десяти, стояль длинный порядокь плохенькихь деревянныхъ дачь съ налисадниками противъ рва и вала, огибавшаго паркъ усадьбы. На «задахъ» были избы владельцевъ дачь-мужиковъ, жившихъ этими дачами. Мы перебирались съ весны до конца августа и, такъ какъ это длилось много леть сряду, то Покровское стало для насъ, дътей, чъмъ-то вродъ собственной «деревни». Мы знали всъхъ мужиковъ. Филиппъ, въчно гдъ-то пропадавний (говорили въ сстрогв); появление его наводило на всехъ ужасъ, ибо сопровожналось жестокимъ избіеніемъ жены, которая спасалась отъ него вь льсь; красивые братья богатаго двора Барановыхъ - молодень къ молодцу; Пстръ Полунинъ, пьяница и хвастунъ, нанимавшій за двугривенный косить даже свою крошечную делянку и подбадривавший поденщика нокрикиваніями съ заваленки: «работай чище». Неизовжный дурачекъ Яша съ острымъ носомъ, безъ лба. И, наконецъ, Степанъ — странный, нъмой и безногій человъкъ, сидъвшій у церкви; вмёсто ногь у него было что-то, плотно обернутое чернымъ, подымавшее пыль, когда онъ ползалъ, а когда я давала ему пятачокь, онь киваль мив дохматой головой и издаваль радостныя, беззвучныя восклицанія, улыбаясь и отврывая беззубый роть. Много было въ прежнихъ деревняхъ убогихъ.. И всв дачи — жили мы на разныхъ — имъли иля насъ разное значеніе и свои воспоминанія.

Семья историка Сергия Михайловича Соловьева поселилась

въ Покровскомъ въ то-же приблизительно время — ранве моего

вінэджод

Сергва Михайловичь, который вы моемы представлении съ тахъ поръ, какъ я себя помнила, всегда писалъ свою «Исторію», жилъ на дача съ узенькимъ палисадникомъ, носившей названіе «Поповой дачи», съ большимъ окномъ кабинета на шоссе. Въ минуты отдыха и за самыми занятіями онъ дълалъ всякія наблюденія и обобщенія надъ русскимъ народомъ — вся жизнь шла туть-же, совсёмъ близко.

Сергъй Михайловичь быль изъ духовнаго званія. Мы знали это по большому, въ краскахъ, портрету архіерея, висъвшему въ Москвъ въ столовой. Кажется онъ быль сынъ священника въ приходъ Іоанна Предтечи въ Староконюшенномъ переулкъ въ Москвъ. Поликсена Владиміровна Соловьева, рожденная Романова, дочь помъщика Екатеринославской губерніи, училась въ Москвъ въ Екатерининскомъ институтъ виъстъ съ моей матерью. Должно быть она была очень краснва: немножко южнаго типа, съ черными и въ старости волосами, по старинному лежавщими какъ-бы грядками по объ стороны ряда, ярко черными бровяма и прямымъ носомъ. Моя мать восхищалась ея добротой, смиреніемъ и кротостью, а главное безграничной ея любовью къ мужу, который какъ бы быль весь смыслъ ея жизни — при наличіи восьми дътей и трехъ, умершихъ въ младенчествъ.

Мив разсказывали, что Поликсена Владиміровна однажды привела къ намъ смуглаго, темноглазаго мальчика въ новенькихъ саложкахъ, черныхъ, съ красными отворотами. Тогда такіе салоги были въ модв, и надвли ихъ на Володю въ первый разъ. Это, видимо, совершенно поглощало его. Онъ сидвлъ, покуда наши матери говорили, и непрерывно поглядывалъ на свои ноги-Моя мать обратила на это вниманіе, когда кроткая Поликсенъ Владиміровна вдругъ сказала: — Володя, и теов говорила; если ты будешь все смотрвть на сапоги, я ихъ сниму съ тебя.

Семья Соловьевых была очень большая. Старшій, Всеволодь, авторъ извъстныхъ историческихъ романовъ, былъ много старше остальныхъ. Мы его не любили. Онъ казался намъ какъ-бы другого типа, чъчъ вст Соловьевы: зато онъ билъ любимцемъ матери. Потомъ шли дѣвочьи — Въра (впослъдстви жена профессора Попова), Надя, оставшаяся незамужней, самая краснвая изъ встать, любимая сестра Владиміра, его обожавшая, Владиміръ, Любовь (Степанова), Миша, про котораго сестры говориля, что у него одна душа съ братомъ Володей, Маша (Марья Сергъевна Безобразова) и, наконецъ, меньшая изъ Соловъевыхъ, Сена-Allegro и Алексъй Меньшовъ. Псевлонимъ этотъ имълъ

своею причиной то, что въ семью, передъ рождениемь меньшой дочери, всю ждали почему-то мальчика, и назвать его должны были Алексъемъ.

Въ воспитаніи объихъ пашихъ семей было много общаго : огромное уваженіс къ родителямъ, къ дѣятельности и міросозерцанію отцевъ, чувство постоянной заботы и опеки и потому недостатокъ самостоятельности, чрезвычайно высокій этическій уровень жизни, незнаніе практической, матеріальной ея стороны, даже полное презрѣніе къ ней, и отсутствіе систематическаго воспитанія. Воспитывала не система, даже не лица, а га умственная духовная атмосфера, которой мы дынали. При всей заботь о дѣтяхъ и любви къ нимъ — дѣти были какъ-бы придаткомъ въ жизни родителей, и какъ-то само собой разумѣлось, что они должны быть хорошими, ибо должны походить на своихъ отповъ.

У дівочекъ Соловьевыхъ была впрочемъ, если не воспитательница, то давно живущая въ семь в гувернантка, прочно стакшая членомъ семьи — низенькая, широкая дама, съ широкичъ лицомъ и живыми глазами. Анна Кузминишка Колерова. Она замвчательна уже темь, что одна могла обучить по всемъ предметамь умныхъ, серьезныхъ своихъ воспитаннипъ, лѣвочекъ Соловьевыхъ, изъ которыхъ только одна была потомъ въ пансіонъ Дюмушель; меньшія же двф, писательняцы, учились у нея. Ее горичо любила, исключительной и экзальтированной любовыю. какъ все у Соловьевыхъ, — Надя. Поликсела Владиміровна ее не долюбливала и немножко страдала отъ ея «деспотизма», какъ говорила моя мать, но все же, что очень характерно, - не разставалась съ нею, видела пользу ся пребыванія. У насъ не было гуверпантокъ, и уже леть съ семи я была совершенно одна, черпая свои жизнешных позванія одинаково отъ своихъ преподавательниць, отъ братьевь, которые всв были старие меня. и друзей отда, говорившихъ на совершенно отвлеченныя и непонятныя темы.

Володя Соловьевъ и мои старшіе братья — Николай, впослідствій собиратель русских півсенъ и исполнитель ихт, и Левъ, извівстный русскій философъ, всё трое погодки (Володя старшій), близко сдружились въ Покровскомъ и были совершенно неразлучны. Предоставленные самимъ себі, они съ утра до вечера придумывали какъ-бы провести время возможно полніве. Володя, упрямый, какъ всі Соловьевы, увіренный въ себі и необузданный, верховодиль. Отличнымъ сподручнымъ ему быль Коля—Никола, какъ всю жизнь его зваль Володя, горячій, веседый, черноглазый и вострый. Лева — бользнецный, бълокурый, высокій худой мальчикь съ большими голубыми глазами быль отвлечесный и болье разсудительный, поэтому съ нимъ совътовались; онъ предупреждаль и удерживаль, по не могь устоять и дълаль тоже, что оба старшіе. Иногда самъ первый пробоваль что-нибудь. Проникся интересомъ новаго предприятия — скатиться въ льсу съ крутого обрыва къ ръчкъ, но вмъсто того, чтобы лечь бокомъ, перекувыркнулся черезъ голову, да такъ и пошель внизъ съ кручи, между пнями и стволами, не въ силахъ удержаться и кувыркаясь головой. Коля-же и Володя стояли наверху и, увърениме, что онъ убъется до смерти, схвативнись за голову, кричали и ревълн, что было мочи.

Всв трое ходили, одинаково одвтые въ русскія рубашки, сапоги и фуражки на манеръ кепи, одинаково размахивая точкими желваными тросточками съ крючками. Дачники были до некоторой степени терроризированы ихъ баловствомъ.

Но однажды были перейдены всв предвлы.

Подъ обрывомъ виязу, на рѣкѣ, была купальня. Вѣчное ожиданіе, скучающія группы съ простынями у пряно нахнувшей осоки. Мальчаки подолгу ждали барышенъ Соловьевыхъ и Анну Кузминичну. Одинъ разъ было что-то очень долго. Лежали, баловались, висѣли на шаткихъ перилахъ мостковъ и стали придумывать, какъ-бы поторопить? Придумали и побѣжали къ запертои дверцѣ. Коля и Володя стали стучать. Послышались негодующе возгласы.

- Что за безобразіе?!..
- Идите скорве! кричить Коля: Покровское горить... Соловьевы всё были нервны и всегда шумно проявияли эту нервность. Иожаровъ же принято было особенно бояться, до безразсудства. Можеть быть потому, что сграшиве этого какъ-то ничего не случалось кругомъ. Анна Кузминична, доть характера твердаго и рёшительнаго, однако не отставала ничуть въ этомъ огношени отъ своихъ питомицъ. Поднялся крикъ и визгъ невообразимые, дверь распахнулась, и всё побёжали, одёваясь на ходу.

На этоть разъ негодованіе было общимъ.

II

Моя дружба съ Соловьевыми началась поздиве. Мы жили въ Нащокинскомъ переулкъ, въ домъ Яковлева, богатаго купца няъ подрядчиковъ, разбогатъвшаго отъ найденнаго въ землъ и утаеннаго клада.

Соловьевы жили въ Денежномъ переулкъ, въ домъ Дворцовой

Конторы. Этоть адресь, который повторялся моей няней при наймё извозчика, казался мнё загадочнымь наборомь словь, привлекавшимь меня чёмь-то яркимь, соединяющимся съ воскреснымя вечерами. Сергей Михайловичь, оставившій ректорство университета, имёль казенную квартиру, какь завёдующій Оружейною Палатою и пренодаватель Наслёдника. Комнаты тамь были большіл, всё вь одномь этажё. Для Володи мёста не хватало, и его пом'єстили внизу, въ полу-подвальномь этажё. Оне уже быль совсёмь большой.

У Соловьевыхъ была елка, на которую меня пригласили, **и** привезли насъ, меньшихъ.

Около един на ступт стояла въ короткомъ синемъ платът, въ длинныхъ панталонахъ маленькая дъвочка съ огромными, темными, удивленными глазами. На одномъ глазу была отмътинка, въко было странно подхвачено, какъ-бы выръзано треугольникомъ, — повивальная бабушка при рожденіи неудачно перевязала волоскомъ родинку. Дъвочка держала въ протянутой рукъ линкія конфеты, таявшія отъ свѣтлой, пахнувшей подожженной хвоей жары, и глядъла серьезно и жяво. Это была самая меньшая изъ Соловьевыхъ, впослъдствіи мой близкій другъ — Поликсена Соловьева. Ее звали всегда Сена, Володя даже обыкновенно Сенка, — и это странное, ни на что не похожее, не то женское, не то мужское имя странно шло къ ея сложной, особенной, по женски нъжной и по мужски немелочной душть.

Уже черезъ нъсколько лътъ ее привезли къ намъ, въ наму типичную старо-московскую яковлевскую квартиру, гдъ было много комнатъ, казавшихся намъ очень большими, — и неизбъжнал зала съ роялью, и гостиная съ симметричными зеркалами, и «дъвичья», и лъстища наверхъ въ кабинетъ отца и къ старшимъ братьямъ. Въ нашей свътлой дътской, окнами на дворъ и съ однимъ окномъ въ чужой садъ, Сена, тоже въ длинныхъ панта гонахъ, съ басистымъ голосомъ, сейчасъ же завладъла всъми момми игрушками.

— Переселяться! — командовала она басомъ и куда-то ташила всёхъ — и куклу, прозванную Подстегой Сидоровной, и моего любимаго Антошку въ тарлатановыхъ панталонахъ на несгибавшихся ногахъ, и крошечную мебель. Меньщой мой братъ, наиболье близкій намъ по возрасту, тоже Володя, обладавшій большимъ врожденнымъ комическимъ талантомъ, глубокій и грустный, какъ большинство комиковъ, и потому любившій смешное, — не могъ глядёть на нее безъ смёха. И она хохотала громео, заразительнымъ, смешнымъ басомъ.

Съ этого и началась наша дружба. Сестру ся Машу, годами

двумя постарше меня, милую Машу, съ выющимися бёлокурыми волосами, съ блёдно-смуглымъ лицомъ и выраженіемъ, чёмъ то напоминавшимъ хорошенькаго зайчика, я полюбила тотчасъ. Да и нельзя было не любить ен добрую, благородную, всю пламенную душу. Обё эти дёвочки были по возрасту какъ бы самой судьбою предназначены мит въ друзья.

Воспресенья мы всв проводили вместь.

Что-то связывало насъ душевно уже и тогда. И хотя мы виделись только по праздникамъ, жизнь наша была общею. Мы розсказывали другь другу вст свои внечатленія и мысли, и мечты. Далекія оть какой-нибудь дійствительной жизни. Самыя наши комнаты и коррилорь, и чулань подь лъстницей, въ щели котораго палаль свёть, и глё такъ странно было сидёть во времи игръ въ прител, и зала, гдв моя мать играла на рояли по вече, амъ, и сами звуки Бетховена и Шопена, къ которымъ мы привыкли, и большіе фикусы въ заль у Соловьевыхъ, бросавшіе четкія тыни на паркеть оть свътнешей въ окно луны, — все было населено странными образами — не то изъ книгъ и сказокъ, не то изъ собственной головы и воспоминаній, и образы эти были намъ ближе и реальнъе дъйствительности. Маша, старшая изъ насъ, какъ-бы валавала тонъ. Глядя на нее, мать ея говорила съ болью: «охъ. Маша — острый ножь мив твоя фантазія»... Мы уже тогда почти гордились этимъ. Быть, какъ тогда говорили «фантазерками» казалось намъ совствы не плохо, обычная жизнь, съ ея будничными интересами, презиралась нами. У Маши быль сильный, "Трный голось. Музыка, съ которой соединялись все наши душевныл ощущенія, придавала имъ почти мучительную силу и яркость Вопросы реальные мало интересовали насъ. Все, что происходило въ то время кругомъ, - нигилизмъ, зарождавшееся революціонное движеніе, споры о томъ, кто лучше — Пушкин , или Некрасовъ, Каракозовскій выстраль, — все походило до нась. какъ во сив.

До странности далеки мы были вопросамъ политики, соціальнаго устройства. Лёть съ 10 однако мы уже жалёли, что тё, кого называли нигилистами, идуть противъ Бога, иначе мы пошли бы съ ними на мученичество...

Я знала о томъ, что въ юномъ возрастѣ Владиміръ Соловьевъ пережилъ сильное увлеченіе соціализмомъ и съ пылкостью и прямотою, ему свойственными, кощунствовалъ, срывалъ иконы и выбрасывалъ ихъ. Онъ кончилъ гимназію что-то очень рано. Способности его были блестящи. Уже въ двадцать лѣтъ онъ кончилъ университеть, при чемъ былъ два года на физико-математическомъ факультетѣ и уже оттуда перешелъ на филологическій; вы-

державь экзамень и получивь степень кандидата историка филологических наукъ, проживъ годъ въ академіи Троицкой Лавры, быль доцентомъ и читаль лекціи. Путь его къ Богу, любви и христіанскому преобразованію міра совершенно опредѣлился.

Для насъ, его сестеръ и меня, онъ былъ всего носителем ивры Христовой. Во время неизбъжныхъ отроческихъ сомивий онъ былъ опорой. Онъ былъ умиве другихъ и лучше и ученвй, — и вършав.

Когда въ Пасхальную ночь, измученная страхомъ, что меня не возьнуть, дрожа оть волненія и поздней ночи, я шла съ братьями и родителями и ихъ друзьями, гордан компаніей варослыхъ, въ Кремяь, къ Свътлой Заутрени, на площадку между соборами, полную движущейся, горящей тысячью огоньковь толпой. Соловьевь неизменно быль съ нами. Высокая, худая фигура, чудесное но духовности лицо. Совстмъ нельзя было представить себт безъ него этой московской ночи Праздника Воскресенія Христова. Густая толиа, среди которой слышалась иностранная рёчь, длинныя, освъщенимя полихавшими свъчами ленты крестныхъ холовъ, съ медленно и таниствению качающейся цадь толной знаменитой иконой Владимірской Божьей Матери, древность которой уходить въ въчность, ибо предание относить ее кисти Ап. Луки, съ сверкающимъ Херсонскимъ запрестольнымъ крестомъ, съ митрами и старыми хоругвями; медное, толкающее и мягкое буханье колокола Ивана Великаго, — и огненная вмёя ракеты, прорёзывающая тревожное весеннее небо, и бурный трезвонъ встхъ колоколовъ... И непремънно онъ, съ шляпой въ рукахъ, со свъчей, краснымъ отблескомъ освъщающей строгое, бледное лицо и шевелящіеся отъ вътра волосы... Бывало, слышны въ толпъ на площадкъ молодые голоса:

-- Соловьевъ . . . Соловьевъ . . .

И безъ всякаго знакомства съ его философской системой, безъ знанія его намівчавнагося нути и большой роли, которая предстояла ему, ясно было, что человікть этоть — другого міра, чуждаго большинству людей. Богъ, евангельскія главы Страстной Недівли, черныя стіны Успенскаго Собора и мідные удары «Ивана Великаго», и радость того, что Христосъ воскресъ, какъ это ни странно и ни дико, и что візра въ это одна открываеть истину и можеть преобразовать міръ — воть что несомнізно въ нашихъ глазахъ несъ онь въ себів и пронесъ черезъ всю свою жизнь.

III.

Жизнь Соловьевской семьи, распредвленіе дня, самое настроеніе всяхь, — сосредотачивались вокругь Сергвя Михайловича. Всв постоянно говорили о немь, и мы, двти, сидвли въ заль только тогда, когда онь не отдыхаль въ своемъ кабинетв и не писаль, а если писаль, то сидвть надо было смирнехонько. За объдомъ и чаемъ всв прислушивались къ тому, что онъ говориль, радостно смъялись его шуткамъ и молчали, если онъ быль озабоченъ. Впрочемь, въ кругу семьи онъ бываль въ минуты отдыха и почти всегда благодушенъ. Мучила его одпо время «Любимовская» университетская исторія и особенно статьи «Московскихъ Въдомостей» по ен поводу, — до такой степени, что у него разливалась желчь, и Поликсена Владиміровна прятала газеты. У насъ въ семьъ была однородная драма немного позднъе, — отецъ мой заболъвалъ отъ нападокъ Каткова на Новые Суды.

Каждое воскресенье Сергъй Михайловичь уважаль въ Петербургъ на урокъ Великимъ Князьямъ. Повздъ отходияъ вечеромъ, и послъ семейнаго объда събажавшиеся на пето родственники, — Въра Сергъевна Полова съ семьей и другіе, а также мы, дъти, шумно шли въ залу провожать; — всъ сидъли сначала, какъ полагалось, потомъ стояли въ передней, пока ему подавали большую медвъжью шубу, и только, когда стихали его шаги и затворялась дверь, можно было бъгать и играть. Проводамъ этимъ въ семьъ придавалось большое значеніе, и Соловьевы очень ръдко, развъ по большимъ праздникамъ, на Святкахъ и Святой Недълъ бывали у насъ, — обыкновенно ходили мы съ братомъ къ нимъ.

Соловьевыхъ каждое воскресенье водили къ объдиъ. Когда наша няня и торничная разсуждали о жизни прислуги у насъ и у Соловьевыхъ, то неизмънно говорили, что у Соловьевыхъ — норядовъ, у насъ же, по ихъ увъренію «порядка не было», - ложились и вставали поздно, завтракали въ разное время, ночью подолгу сидвли въ кабинеть. Вдобавокъ считалось, что въ церкви неизбъжно должно было простудиться, и всъ очень любили вообще разсуждать на ту тему, что «дело не въ этомъ». И только на Страстной недёль, въ особенности темными или залитыми горящими свъчами всенощными и жаркими заутренями, весенними вечерами, даже ночью на разсвъть деркви наполнялись студентами, чиновниками в профессорами и целыми компаніями молодежи; жизнь выбивалась изъ колеи, и всё вдругь вспоминали, что православная церковь, абсолютно истинна она или нъть, устаръло въ ней многое, или нътъ, и сдълалась ли она «полицейскимъ учрежденіемъ» (это тоже любили говорить многіе просвіщенные москвичи) или пътъ — представляетъ величайщую драгоцънностъ, не допускающую и мысли о возможности измѣнить ей . . .

Мы много говорили на религіозныя темы, Соловьевы еще и много читали и разсказывали мнв. Старшая изъ жившихъ въ домъ дочерей, Надя, относилась критически къ нашему «фантазированію» и страннымъ заглавіемъ одного изъ самыхъ любимыхъ нами рыцарскихъ романовъ «Рибомоны Бѣлые и Черные» опредъляла наши настроенія. «Это все Рибомоны»,—говорила она:— «Вы бы хоть немножко по-серьезнъе стали . . . Вѣдь не маленькія» . . . Насъ это сердило, но мы и сами не обходились безъ этого нарицательнаго понятія.

Къ казенному дому Соловьевыхъ примыкаль большой садъ съ акаціевой аллеей, неизобжнымъ курганомъ, особенно красивый ранней весной, когда онъ зеленълъ неожиданно ярко и сочно, и распускалась сирень.

Разъ въ недёлю, у Соловьевыхъ но пятницамъ, у насъ по субботамъ — собирались «гости», къ которымъ мы, конечно, не выходили. Въ томъ кругѣ московского передового общества, гдѣ мы жили, всѣ дин педѣли были разные кружки, — прежде всего славянофиловъ и западниковъ, потомъ всякіс — причастные къ интересамъ театральнымъ, литературнымъ, профессорскіе и другіе но всѣ они соприкасались близко и вездѣ можно было встрѣчатъ однихъ и тѣхъ же людей; безъ нѣкоторыхъ изъ нихъ не обходилось вообще никакое сборище. И время вездѣ проходило одинаково: пили чай, курили и разговаривали.

У Соловьеных встрячались гости, которых не бывало въ другіе «дни», и у насъ, — больше изъ западняковъ: Е. Ө. Коршъ, переводчикъ Шекспира Кетчеръ, В. И. Герье, много профессоровъ и молодой ученый, оставленный при университеть по каоедря исторіи Сергвемъ Махайловичемъ, смышленый, тихій, съ въскимъ, чуть заикающимся говоромъ, съ косымъ рядомъ и острими хатроватыме глазами — В. О. Ключевскій.

Въ дни, когда были гости, обычная жизнь нарушалась, мёнялся видъ комнатъ, дёлалось очень свётло отъ того, что зажигались всё лампы, готовили чай, и до поздней ночи раздавались звонки; долго, всю ночь, гудёли голоса въ гостиной.

Мы тораздо больше любили наши обыкновенныя воскресенья, въ неосвъщенной валт въ Денежномъ переулкъ, куда свъть падалъ отъ уличныхъ фонарей, — когда вдоволь можно было наговориться обо всемъ. Иногда заходили мы въ пустой просторный модчаливый кабинетъ Сергъя Михайловича. Длинныя полки книгъ, огромный письменный столъ, стопки книгъ даже на полу — все то, что мы никогда не могли видёть, когда онъ быль дома, охватывало насъ любопытными, уже извъстными намъ но учебнику Иловайскаго образами и событіями, которыми самъ онъ жилъ въ этой комнатъ. Поздними весенними сумерками мы разглядывали нортреты — гравюру Петра Великаго съ желёзнымъ лицомъ, Екатерину Вторую.

 — два его любимыхъ историческихъ лица, — объясняла намъ Поликсена Владиміровна.

На дивант лежала подушка съ выпнатой бисеромъ кошкой. Сергти Михайловичь необыкновенно любиль кошекъ, но никому и въ голову не могло придти завести ее въ домѣ: слишкомъ онъ былъ занятъ серьезнымъ дъломъ. Кошекъ онъ странно сопоставлялъ съ душою русскаго народа: мягка и кротка, безотвътна до послъдней минуты, но если раздразнить — дълается страшнымъ звъремъ.

Еще больше любили мы отправляться внизь вь полунодвальную, совскых уединенную и почти таинственную комнату Володи. Вечерами, въ темноте, тамъ было жутко. Комната тоже была вся въ книгахъ — на полкахъ и на столе, и на полу. Полъ быль обить, но не липолеумомъ, котораго еще не было, — шаги утопали въ чемъ-то мягкомъ, и сильно пахло клеенкой. Мы садились на дивавъ в снова при свъте луны или фонаря съ улицы вели свои бесерды. И здёсь тоже — отсутствіе человека, который жиль въ этой комнате, какъ-бы что-то оставляло отъ него и уносило въ иной міръ.

Володя Соловьевь быль уже молодой ученый. Про свою магистерскую диссертацію, різко паправленную противь господствовавшаго тогда позитивизма, онь самъ говериль въ своихъ восноминаніяхъ объ Аксаковыхъ, что она такъ же, какъ и вступительная різчь его на диспуть, доставила ему «Succès de scandale» въ большой публикь и у молодежи, и вмість съ тімь обратила на него вниманіе «старшихъ» — Каткова, Кавелина и особенно послівднихъ представителей славянофильства. Онъ іздиль заграниту и неребрался на жительство въ Петербургь.

Мы видёли его въ его пріёзды въ Москву и довольно часто. — за часмъ и за обёдомъ, гдё онь или упорно молчалъ, думая, или оживленно разговариваль и шутилъ, — за шахматной доской со своимъ братомъ Мишей, когда онъ любилъ что-то напёвать невёрнымъ голосомъ, все на одинъ мотивъ, — за бесёдой съ моимъ отщомъ и братьями... И вездё и всегда смёнлись, когда онъ хохоталъ своимъ взвизгивающимъ, ни на что не похожимъ и разнузданнымъ, но неудержимо искреннимъ смёхомъ. И всякій разъ появленіе между нами его высокой, худой фигуры, медлительной,

упругой ноходкой, большими шагами, съ сжатой въ кулакъ рукой передъ грудью и съ прищуренными глазами, странно вносило съ собой какъ-бы въяніе еще педоступнаго намъ, незнакомаго міра.

IV.

Любовь къ смѣшному, юморъ безобидный, безъ сатиры и злобы, юморъ, лучшими образцами котораго являлись «Женитьба» Гоголя и разсказы Слѣщова, и нониманіе смѣшного, было нѣчто, такъ-же сближавшее насъ съ Соловьевыми, какъ склонность къ отвлеченному и фантазія.

У Соловьевых всё смённись громко, привлекая вниманіе, но смёхь Володи Соловьева быль по истинё поразителень. Очень трудно передать его словами, и вмёстё съ тёмъ для всякаго, знавшаго его, онь быль совершенно нераздёлень съ впечатлёніемь о немь, съ его лицомь и фигурой, въ которых ь было такъ много красоты и отличія отъ других ь, а также и съ душой его, — глубокой и любящей смёшное. Если-бы не было этого смёха, быль бы измёнень самый его образъ; внёшность его была необыкновенна, какъ бы не отъ міра сего, и именно любовь къ смёшному, цитированіе Кузьмы Пруткова, остроты и каламбуры въ письмахъ и на словахъ, и этотъ его смёхъ, странный, дикій, но такой заразительный и искренній, какъ бы было то, что соединяю его съ людьми, съ толой, съ землей.

Услышавъ что-нибудь очень смѣшное, онъ вскрикивалъ, положительно пугая всѣхъ, и закатывался, запрокидывая голову. При этомъ блѣдное, строгое лицо его и глаза принимали даже удивленное выраженіе, точно онъ самъ былъ не радъ. Громко, какъ въ припадкѣ коклюша, онъ переводилъ духъ и опять «заливался», вскрикивая и взвизгивая. — Володя, что это такое! — говорила Поликсена Владиміровна. — О, Господи, Ватюшка! Вѣдь это и не хорошо такъ смѣяться! — покачивая головой, замѣчала наша тихая, смирная няня, разливая чай и пугаясь его смѣха за нѣсколькими лверями.

У моето меньшого брата, котораго Соловьевъ любилъ за его врожденный комизмъ, была ноговорка: когда онъ хотълъ выразить, что преувеличенная похвала имъетъ обратное дъйствіе, онъ называль ее Соловьевскимъ смъхомъ. Когда гдъ-нибудь на балконъ дачи, Соловьевъ сидълъ, погруженный въ какія-то свои мысли, — встанегъ, бывало, его маленькій тезка и пойдетъ развалистой, подрагивающей походкой стараго брюзгливаго генерала, или, кому-то подражая, произнесетъ проникновенно: «видътъ я во снъ женщину — неописанной красоты». — или обниметъ мать и, ру-

ководствуясь не мыслями, а гдв-то слышанными словами, произнесеть съ чувствомъ: «Мама, ты безуворизненно честная женщина» — Соловьевъ вдругь завопить и пойдеть заливаться и захлебываться. А мальчикъ сконфузится.

Товарищи старшихъ братьевъ сочинили оперетку, съ хорами и дуэтами на извъстные мотивы — «Тезей Афинскій». Пьеса имъла успъхъ у любителей глупости, и ставили ее много разъ — и всегда были опасения, чтобъ не отнеслись къ ней такъ какъ моя мать, которая говорила: «совъстно глядъть на такую галиматью». Владиміръ Соловьевъ не пропускаль ни одного представления, и всегда его сажали вперсдъ для одобрения актеровъ. И чъмъ глупъе было мъсто, тъмъ громче захлебывался и кричалъ онь отъ неудержимаго хохота. И, бывало, стоятъ актеры, отвернутся и трясутся отъ смѣха.

Разъ, однако, не спась положения и его смъхъ.

Ръшили поставить Тезея Афинскаго въ залъ частной гимназіи за плату въ чью то пользу. Собралась публика нарядвая, незнакомая и непредупрежденная объ ожидавшемъ ее.

Начала играть, пѣть, на лицахъ недоумѣніе, даже неудовольствіе и почти обида. По обыкновенію хохочеть Соловьевь, но смѣхъ его какь-бы усиливаєть общее недоумѣніе. Актеры стараются, придумывають всякіе трюки—молчаніе... И наконецъ—въ доверіненіе всего---въ сценѣ, гдѣ царь Миносъ, услыша о намѣреніи Тезея убить Минотавра, падаеть отъ смѣха на поль, — вѣнець позора: три серьезныя барышни, курсистки, слупательницы брата, интересовавийся увидѣть профессора на сценѣ, встали всѣ трое и демонстративно, пролѣзая черезъ стулья, ушли ... И останся молчаливый, недоумѣвающій залъ, болгающій на полу ногами Миносъ н взвигивающій, захлебывающійся и громко переводящій духъ смѣхъ Соловьева.

V.

Въ наши отроческие годы Соловьевы жили въ Нескучномъ «Государевомъ имѣніи» на казенной дачѣ. Дивный, огромный паркъ, конецъ котораго казался намъ въ дѣтствѣ недоступнымъ и таинственнымъ, точно странно было, что что-то могло еще находиться за желтой стѣной ограды,—съ дворцомъ «Александріи», съ художественными сгарыми воротами, столбами и павильонами, съ прудами и перекинутыми черезъ душистие овраги мостами, съ аллеями и луговинами, съ широкой гладъю Москвы-рѣки... Казалось, трудно быле найти мѣсто, гдѣ-бы свойство Соловьевыхъ, моихъ друзей, ихъ фантастическое настроеніе и склонность къ художест-

венному творчеству могли бы найти лучшую почву. Жизнь какъ бы шла гдв-то далеко, въ огромномъ городв, какъ океанъ разстилавшимся внизу, за ръкой, за огородами и дальше, въ туманнорозовой дали и во всей необъятной Россіи. А здісь были полныя прошлаго, далекія отъ грубой действительности чудесныя линіи знаменитыхъ строеній, запахъ черемухи, стольтнихъ елей и сирени, и всв весеннія ночи папродеть заливались соловьи... По праздникамъ, весенними вечерами, когда квакали дягушки, и воздухъ полонъ быль нытьемъ комаровъ, паркъ набивался сплошной толной, безконечными семьями замоскворецких купцовь. гимназистами, студентами и барышилми, и внизу на ръкъ въ додкахъ пълн « Внизъ по Матушкъ по Волгъ». Мы избъгали выходить въ такіе дни, но прочодили праздники, опять густой, мощный паркъ погружался въ тишину, въ ароматъ сирени, въ задумчивое шелканье соловьевъ. И не было ни людей, ни быта, какъ-бы ничего реальнаго. Соловьевская молодежь завидовала намъ: мы жили въ Покровскомъ Глебове, но не на пыльно чъ шоссе деревни. а въ глухомъ уголкъ нарка, сквозь старыя березы котораго искрилась вода чистаго маленькаго озера съ двумя островками. Это была «дача у прудиковъ», носившая еще название Берсовой дачи, по имени исторической семьи доктора Берса, куда Левъ Николаевичъ Толстой вздиль женихомъ. Мы понимали эту зависть — жизнь тамъ походила на деревню, близко былъ Ходынскій лагерь, и села кругомъ, съ болтающимися причудливыми въшками изъ соломы, заняты были эскадронами кавалеріи. Мы любили и арчію. и пушечную пальбу маневровъ, и солдатское прије. Было время особеннаго ведичія русской армін, недавно преобразованной посяв старой рекрутчины. Освободительная война поднимала ее на особую высоту и внущала намъ гордость. Старшій брать мой справляль воинскую повинность и привезь домой множество солдатскихъ прсень, говарищи братьевъ въ новенькихъ соддатскихъ мундирчикахъ и кавалерійскихъ безкозыркахъ наполняли нашъ домъ каждую субботу. Соловьевъ любилъ подолгу жить у насъ. наверху, въ братьиныхъ комнатахъ. Онъ писалъ и читалъ и часто молчаль, какъ всегда, думая подъ общій разговорь, — но еще чаще болгаль за объдомъ и хохоталь надъ меньшимъ братомъ. Странно было, идя утромъ на террасу, съ учебниками подъ мышкой, видъть его фигуру въ залъ за самоваромъ въ разстегнутомъ фейерверкерскомъ мундирѣ, въ длинныхъ брюкахъ, съ длинными густыми волосами.

[—] Что это вы на себя надёли, Владиміръ Сергьевить? — спрашиваеть его отепъ, обычно за какой-нибудь философской книгой сидевшій на кресле у окна въ садъ.

Соловьевь молчить.

— Въ мундеръ все же лучте... — подражая фравъ место маленькаго брата, наконецъ отвъчаеть онъ.

Къ присутствію его у насъ я привыкла съ самаго дітства, такъ, какъ привывають къ хорошей картинв или роялю, или любимой внигв. Но возможность говорить съ нимъ меня всегда смущала. Жизнь, которою мы жили, я и его сестры, была полна захватывающаго интереса, но совершенно не соприкасалась съ нимъ — точно такъ и надо было — онъ былъ и вообще изъ совершенно другого міра.

На нашемъ балконѣ, выходившемъ въ палисадникъ, въ березовый лѣсъ и къ озеру, за послѣобѣденнымъ чаемъ, я сижу за какою-то фантастическою работою, что-то шью нескладное и, слушая общій разговоръ и смѣхъ, думаю о своемъ. Моя мать говорить мнѣ, что то, что я шью, ни на что не похоже. На моемъ чудномъ французскомъ языкѣ, на которомъ я обязана ей отвѣчать, и на которомъ, къ моей зависти, никогда не говорять братья. я успокаиваю ее:

- Ce n'est rien, maman, c'est pour les bêtises Молчаніе
- Катя, замъчаеть вдругь Соловьевъ, on peut faire des bêtises, encore ça passe. Mais faire quelque chose pour les bêtises . . . je trouve que c'est trop . . .

Я густо красићю, потому что совершенно была увћрена, что онъ никогда не замћчаетъ того, что я говорю, — а онъ смћется своимъ всегда для насъ мильмъ смћхомъ.

Отепъ мой останавливаеть меньшого брата.

— Я тебѣ что сказаль? Что ты такой разсвянный? — влюбдень, что-ли?

Опять модчаніе. Ерать сконфужень, и опять голосъ Соловьева:

— Я въ его возрасть влюблялся въ предметы даже-несуществующе и воображаемые, — говорить онь, обнявъ его за плечо.

Думаю, что и теперь еще оть этого возраста не долеко ушли.
 добродушно замѣчаеть отець.

И снова смёхъ.

У Соловьевых была странная черта, которая удивляла ченя вы дітстві, потомь меня заражала и стала казаться неизбіжной. На нихь нападала тоска. Безь всякой причины, совершенно неожиданно, посреди нашихъ бесіздь, иногда сміха — вдругь чтото случалось.

Сидимъ, бывало, втроемъ въ тихомъ пустомъ домѣ; веф разъ-

вхались, за окномъ скрипять санки, съ тажелымъ длительнымъ грохотомъ падають въ ухабы, слабо горить на стънъ старенькая дамиа. Мы всегда полны яркихъ впечатлъній, взбудоражены ими, — то отъ прочтенной повъсти Тургенева, то отъ пьесы или какото - нибудь красиваго танцевальнаго вечера. И вдругъ у Маши «тоска», и все мъняется совершенно. И жизнь, и радость, и самая лампа на стънъ, и звукя рояля — все стало другимъ, тоскливымъ и грознымъ, и въ то же время таинствениъе и прекрасиъе.

Началось это съ Мании. Мы съ Сеной долго не поддавались. Обсуждая однажды вопросъ, чего больше на свътъ — радости или печали, я спросила Машу, какъ обстовть съ этимъ у нея? Она даже удивилась. — Конечно, больше страданій! — сказала она, какъ всегда серьезно и искренне: — а у тебя? — Мнъ было неловко в обидно за себя, но лгать я не умъла и созналась, что у меня въ жизни больше хорошаго, чъмъ дурного. — И у меня тоже! — басомъ заявила Сена и даже обияла меня.

Однако споро что-то новое стало волновать и насъ.

И когда мы умственнымъ взглядомъ какъ-бы слѣдили за Машей, мы не находили ничего удивительнаго въ ел состояніи. Развѣ жизнь, съ ел красотою и властью, съ постоянно уходящими въ прешлое мгновеньями и годами, съ умершими людьми и неискоренимою жаждою счастья, съ грустными и страшными снами, — сами тихія комнаты и воспоминанія прошлаго — развѣ все это не хватаеть за сердце, какъ музыка?

Я уже говорила, что мы были лишены того, что называется систематическимъ воспитаниемъ. Надя называла нашу тоску презрительно «рибомонами», но всв Соловьевы были разко силонны къ тому же...

Я не знаю семьи даже и того времени, гдв бы любовь занимала такое всепоглощающее, великое масто въ жизни, какъ у Соловьевыхъ Положительно любовь наполняла всю жизнь, и была главнымъ, что двигало ею. Можеть это и часто такъ, но я не видала нигдв, чтобы это было такъ философски обосновано, такъ сознательно. Любовь была смыслъ всего. Вив ея ничего не было на свътъ ценнаго. Я бы сказала — послв Бога это былъ главный предметь культа, если бы не было истипы — Богъ есть любовь . . .

Мы съ ранняго дътства слышали о драмъ, которую пережила старшая въ домъ—Надя Соловьева. Красивая, привлекательная, обожавшая брата Владиміра. Онъ тоже горячо любиль ее и, какъ самъ говорилъ мив — уважаль. Надя была счастлива. Ждали формальнаго объявленія ея невъстой красиваго, высокаго, бълокураго студента съ черными глазами. Соловьевы умъли сильно чувствовать, и счастье совершенно преобразило ее. Это быль какъ

бы полный расцавть ея молодости, силъ, красоты. Потомъ все разрушилось. Что то случилось, хотя наружно и шло все по старому. Страдала она очень долго. Одинъ разъ пришла съ прогулки въ дѣтскую, смотрѣла странно, спрашивала что-то чего никто понять не могъ, и что-то вспомнивъ, закрыла лицо руками и заплакала. Анна Кузминична увела ее и просила, чтобы объ этомъ не разсказывали.

Мы слышали, что женихъ ея убхалъ въ Петербургъ и написалъ ей отгуда, что просить его забыть, что онъ ея не достоинъ, что любить и будеть любить только ее, но не въ сидахъ отказаться отъ предстоящей ему дороги... Скоро онъ женился и быстро пошелъ въ гору, сталъ камергеромъ и министромъ... Надя не измѣнила ему, отказывала всѣмъ и въ томъ числѣ друзьямъ любимаго брата... Дружба ея съ Анной Кузминичной продолжалась всю жизнь. Уже рано обозначилась ея болѣзненность — она страдала, какъ и старшая сестра, періодической тоской, меланхолірй.

Любовь, поглощающая всего человъка, дающая глубокія страдація и наибольшее счастье, мъняющая человъка и все кругомъ, сама по себъ какъ-бы сдълалась цълью нашей жизни. Это было довольно странное чувство — жажда любви и при этомъ исканіе ея грагедіи гораздо больше, чъмъ сама любовь. Мы всячески старались придумать себъ предметъ такого высокаго и благороднаго переживанія... Сена очень рано нашла его въ лицъ друга своего брата Александра Соколова. Вольшеглазый, мечтательный и женственно красивый, онъ, казалось, былъ совершенно подходящимъ выборомъ, но такъ какъ все ограничивалось его неожиданнымъ появленіем: за чаемъ и разговоромъ съ Надей въ нашемъ присутствін — то это скоро прошло. Влюбилась же Сена дъйствительно сильно, съ тоской, ожиданіемъ встръчи, объясненіями и слезами — въ свою кузину, ту самую красавицу Катю Романову, въ которую когда-то былъ влюбленъ самъ Володя...

Странно, что мысль о взаимномъ счасть, а особенно о брака, какъ то совершение не вязалась съ нашими любвями. Въ этомъ не было-бы ничего интереснаго. Кажется, мы были-бы даже смущены такимъ неожиданнымъ оборотомъ дъла. Къ браку мы вообще относились сомнительно. Это было въ нашихъ глазахъ чъмъ-то въ родъ тъхъ скучныхъ хозяйственныхъ разговоровъ, которые вели наши матери, гдъ пибудь на диванъ, послъ объда.

Съ Машей, однако, давно происходило что-то серьезное. Она была уже почти большая, и на нее надъли длинное платье. Почему-то мнъ было жаль по этому поводу и ее, и каши дътскіе годы. Дружба наша не ослабъла, но она что-то давно скрывала оть насъ. Тоска ея стала сильнъе, вся она измънилась. И когда я узнала,

что предметомъ ен серьезной любви оказался мой старшій брать, котораго Володя Соловьевь съ дътства называлъ Никола, — это совершенно выбило меня изъ колеи и потрясло мою душу. Не то, чтобы этогь человъкъ быль недостоинь ея безконечной тоски, того міра поэзін и страсти, которымь она заражала меня; но онь быль совеймь простой, реальный человикь, всцыльчивый, нельпый, съ ръзвими манерами, насмъшками надо мной, да и надъ ней, великолёпнымъ теноромъ, залихватскими русскими пёснями. — «Николушка, забубенвая головушка», какъ называла его очень его любившая тетушка изъ елепкаго убеда; человъвъ, жившій совсемь близко наверху, любившій студенческіе кутежи и пропадавшій во время окзамецовь изъ дома вслідь за оставленной вь передней запиской на имя родителей: «изъ Соловьева 5, объдать дома не буду», — словомъ не представлявшій съ моей точки зрівнія ничего необыкновеннаго. И жалость къ моему другу съ особенной силой охватила меня...

Носявдній годь въ Нескучномъ Соловьевы жили въ глубинъ парка, въ лучшей его части, въ такъ называемомъ парскомъ навильовъ. На плитахъ каменной террасы, plein pied, — свявлъ Сергъй Михайловичъ въ креслахъ съ отекшими ногами, закутанными пледомъ. Лицо его, желтое, съ бълыми волнистыми волосами, было благодушно и спокойно, но сердце сжималось, при взглядъ на него, и новое, смутное чувство, страхъ смерти, вползло въ душу. Овъ былъ боленъ своей послъдней бользиью. Тамъ справляли мы его послъднія именины. Къ нему прівзжали друзья и знакомые, и профессора, и Кетчеръ, и Коршъ, и Ключевскій, и поэтъ Шумахеръ, и много еще. Были и Великіе Князья, высокіе, тонкіе, воспитанные, Сергъй и Павелъ, его ученики.

Осенью 1879 года Сергви Михайловичь скончался. Похороны его отличались невиданнымь до техь порь многолюдствомь. «Одникь генераловь было целое депо», — писаль отцу въ Крымъ, где мы были, одинь изъ братьевъ — студенть: — «такъ у насъ всегда. При жизни мучають человека, а после емерти чествують — умеють только хоронить.» Университеть, доставивший ему столько страданий, быль постоянно ареной неприятностей и волнений.

Мы долго не могли наговоряться, встрітившись. Владимірт Соловьевъ, по разсказамт моего брата Льва, который быль все время съ нимъ, до послідней минуты не хотіль вітрить въ приближающійся конецъ. Сена въ первый разъ виділа его безугішно рыдающимь.

Сергъй Михайловичъ однажды ночью призваль Поликсену Владиміровну, просилъ ее быть мужественной, долго говорилъ и

отдаль свои распоряженія. Послі кончины въ его столі оказалось пять запечатанных в конвертовь и записка: «именемъ Вога прошу отдать дочерямъ». Въ конвертахъ было по 30 тысячъ каждой

дочери, собранныя его непрерывнымъ упорнымъ трудомъ.

По тогдашнему это была большая сумма. И дочери его были обезпечены. При двлежв, какъ водится, были какія-то неожиданныя непріятныя осложненія, очень взволновавшія наши двв семьи. Въ результать ихъ Владимірь Сергвевичь отказался совершенно оть своего права на сочиненія отца въ пользу старшаго брата Всеволода. Миша, во всемъ следовавшій за братомъ, захотвль немедленно сдвлать гоже, но овъ быль несовершеннольтній, и его попечитель и зять, проф. Поповъ, къ величайшему одобренію моего отца, рёшительно запретиль ему двлать это.

Со смертью Сергвя Михайловича окончилось наше двтство, и

мы вступили въ новую, сознательную жизнь.

VI.

Въ яркую лунную ночь, въ воскресенье, я была у Соловьевыхъ, Мы попрежнему вмъсть проводили праздники. Они жили на Пречистенкъ, въ домъ Лихутина, во второмъ этажъ. Также висълъ въ столовой портреть архіерея и какого-то моряка, родственника Поликсены Владиміровны. Неизмінно была и зала съ роядью и веросиновыми лампами по ствнамъ, но фикусы въ кадкахъ стояли въ гостиной и тамъ же стоялъ столикъ-витринка подъ стекдомь, гдв хранились какія-то подношенія Сергвю Михайловичу и его ордена. Гостивая, полукруглая, выходила на уголь Пречистенви и Зубова, и въ окна далеко были видны бульваръ, площадь, давки съ апельсинами за стеклами и длинная лента мигающихъ фонарей. Поздно вечеромъ, наговорившись и даже начитавшись собственных дневниковъ, мы вышли въ гостинную. Въ передней только что раздадся звонокь, пріфхаль частый посфтитель Соловьевыхъ, московскій вице-губернаторъ и кажется безнадежный поклоннивъ Нади — Иванъ Ивановичъ Красовскій. Надя вышла къ нему въ залу; о чемъ-то говорили негромко, и когда вощим. вдругь стало сразу ясно, что что-то случилось. Никто однако ничего не говориль намъ.

— Государя убили, — вся блёдная сказала вдругь Сена, подходя къ намъ: — оборвали ему ноги...

Насъ всъхъ начала бить лихорадка.

Черезъ всё наши отроческіе годы проходили, какъ прерывавшаяся цёнь, однообразныя впечатлёнія— покущенія на Александра П. Что могли мы понимать въ этомъ? Имя Государя Александ-

ра Николаевича одинаково почиталось моимъ отцомъ, теми, казадось намъ, кто сидбиъ въ нашихъ гостиныхъ и теми, кто былъ вь истской, въ извичьей и кухиз. Государь, давній «волю». Сколько разсказовь слыхала я объ этой великой реформъ, неслыханной мирной революціи сверху. Бывало, лежищь больная, и если сядеть около мать, то и начнеть разсказывать, какъ вдругь въ церквахъ прочли манифесть, какъ бабушка испугалась и заперла его въ комодъ; какъ тихо было на улицъ вечеромъ, когда родители мои бхали отъ нея, и какъ въ тишине слышенъ быль отоывокъ разговора: «Осви себя крестнымъ знаменіемъ...» «Свободнымъ быть, а слушаться одного!» И темъ не менее вся та среда, которая проводина, казалось, всв эти реформы въ жизнь, странно встрачала извастія о травла его. Взволнованно, но почти оживленно передавали другъ другу, какъ будго даже и радовались. Чему? Мы не знали. Въ Москвъ постоянно были диберальные толки. прилично умфренные, критикующе обудирующе. Постоянно съ чемь-то боролись, чемь-то возмущались... Но люди были самые умъренные. О сочувстви революціоннымъ кружкамь въ этой средъ не могло быть и ръчи — революціонеровъ ненавидъли и боялись, какъ разрушителей Россіи, считали, что ихъ выступленія и губили реформы, вызывая реакцію. Самая организація этихъ вружковь внушала ужась. Бесы Лостоевскаго имели огромный успфаъ.

Наконецъ, его убили.

Чувство охватившаго меня страха и дрожь не вокидали меня всю дорогу по тихой, еще зимней, яркой въ лунномъ сіяніи Пречистенкі и въ нашемъ особиякі, гді никого не было изъ семьи. Родители мои каждый вечеръ ходили гулять передъ сномъ до Зубова. Я обогнала ихъ на извозчиві и нетерпіливо ждала.

··· Государя убили, — сказала я, выйдя на раздавшийся звонокь вы переднюю, и встръчая ихъ.

--- Да кто это говорить? --- спросиль отець, еще не въря.

Имъ уже крикнулъ на улицѣ незнакомый молодой человѣкъ, неревъсившись съ извощичъихъ саней: — Сударыня, царя убили!

Имъ казалось, что они ослышались, У воротъ пожарнаго депо стояли пожарные. Что они говорять? Разговоръ былъ совершенно мирный — говорили о лунномъ свътъ, ярко игравшемъ на куполъ храма Спасителя. Еще никто ничего не зналъ.

Вся жизнь всколыхнулась съ следующаго дня. Звонили колокола, шли на цанихиду и къ присяге. Отецъ въ полной форме, съ флеромъ на рукаве, и къ треугольной шляпе ехаль въ Успенскій Соборъ. Читали газеты, о последнихъ часахъ царя, о мальчике съ корзиной хлѣба, корчившемся въ крови, къ которому онъ подошель, о словахъ Государя, сказанныхъ Рысакову послѣ первой бомбы и передъ второй: «Это ты, гусь, хотѣлъ меня убить?» О томъ, какъ ранений вторымъ ударомъ бомбы, онъ дрожалъ въ саняхъ и просилъ: «домой, холодно...» О томъ, какъ песаревна Марія Федоровна, вызванная во дворецъ съ наслѣдникомъ, подвичалась по залитой кровью лѣстницѣ, гдѣ только что пронесли царя. И у всѣхъ стало совершенно единодушное настроеніе. Не было ни у кого никакого вопроса о возможности сочувствія.

Я уже говорила — политика была совершенно далека отъ насъ. Впрочемъ казалось намъ, — что вст кругомъ раздъляли наше горе и отвращение къ преступлению.

И вдругь слухь о какой-то левцін, прочтенной Соловьевымъ. о томъ, что онъ высланъ изъ Петербурга... Случайно длинными уже весениими сумерками, послѣ уроковь, передь объдомъ я увиприя его вр нашей гостиной. Онъ стояль въ плинномъ скотукв. серьезный и блідный, съ выраженіемь заносчивой, упрямой горячности, Братья и отепъ горячо говорили, споря съ нимъ. Я пе принимала участія, но слушала сь волненісмь. Мы вев нецавильли смертную казнь, мой умъ не могь какъ-бы вмъстить въ себя ел возможности... Про брата моего, философа и друга Соловьева всю жизнь, и говорить нечего... И все же мы спорили... Меня волновала определенная мысль: почему онъ поднялъ свой голосъ теперь? Отчего детомь, когда разстредяли на Ходынке четырехъ соддать за неповиновение, никто не сказаль ни слова, не допустиль возможности возражать? Отгого ли, что всемь было ясно, что если нарушится въ армін дисциплина, то все погибнеть?... Теперь онъ требуеть оть сына убитаго — измінить своей властью основной законъ, всенародно сделать неслыханное исключение для убійнъ, - Я смотрела на него и думала о томъ, какъ онъ красивъ, бледный, упрямый. Что-то недоброе шевелилось во мнв... Вся Россія теперь вэдрогнула оть его смілыхъ словь. Въ это время до слуха моего донеслось последнее возраженіс, отчетливый нервный голосъ: «Ну да . . . потому что вы говорите о законъ, «око за око - зубъ за зубъ», а я говорю - о заповеди Христа . . . »

И онъ пересталъ спорить.

VII.

Философскія сочиненія и системы не могли интересовать нась. Мы знали Соловьева не по книгамъ, не но лекціямъ и рѣчамъ, про необыкновенный успѣхъ которыхъ слышали, а по самой его жизни, простой, обыденной, которая проходила около насъ,

хотя онъ и бываль въ Москвѣ навадами, пропадаль цѣлыми періодами.

Какова же была эта жизнь?

Прежде всего Соловьевъ не имълъ никакого желища, никакого мъстожительства. По словамъ псалмопъвца — «Я странникъ на землъ, не скрой отъ меня Твоихъ заповъдей», — онъ такъ и прожилъ свою жизнь — былъ настоящій скиталецъ на землъ, и истина не укрылась отъ него.

Служить онъ, имѣть какія-нибудь обязательныя занятія очень короткое время. Очень быстро вышель вы отставку изъ московскаго университета, ѣздиль въ Лондонь, въ Египеть, а изъ Петербурга, гдѣ читаль лекціи въ университетѣ и на женскихъ курсахъ, быль выслань послѣ 1-го марта 1881 года. Такъ что съ тѣхъ поръ, какъ мы сознательно стали помнить его, онъ быль совершенно свободенъ, внѣ какихъ-либо рамокъ, да иначе его и невозможно было представить себѣ.

Наибольшею осъдлостью его быль домъ родительскій, сначала подвальная квартирка въ домъ Дворцовой Конторы; потомъ очень дояго на Пречистенкъ передъ Зубовской площадью, рядомъ съ залой и переднею, — узкая небольшая комната съ двумя окнами, диваномъ вмъсто кровати, и длиннымъ столомъ, за неприкосновенность котораго онъ пренирался съ Поликсеной Владиміровной, спъщившей все убирать въ его отсутстве.

Во время спектакля, когда въ залѣ воздвигались подместки, комната Володи обращалась въ мужскую костюмерную, гдѣ навалено было платье, костюмы, сидѣли неузнаваемые люди съ приклеенными бородами, а на столѣ передъ зеркаломъ, среди румянъ, бѣлалъ и карандащей работалъ гримеръ.

Больше всего, кажется, жиль Соловьевь въ Петербургв, или разъвзжаль. Вздиль ечень много то за границу, то въ Финляндію, то по усадьбамь друзей, жиль особенно часто у своего друга Пертелева, у гр. Толстой, у Афанасія Афанасьевича Шеншина, Фета, которато очень любиль, гостиль на дачахъ.

Въ Петербургъ объчнымъ пристанищемъ его были гостиницы Англія, Европейская. Но и здѣсь часто онъ проживалъ у кого-нибудь, перевзжалъ въ пустыя квартиры отлучившихся друзей и тамъ работалъ. Отепъ мой былъ однажды очень удивленъ, когда разыскалъ его въ Петербургъ въ одной такой квартиръ, въ совершенно пустой комнатъ, гдѣ были только столъ и стулъ. На столъ столъъ канделябръ съ одной свѣчей; углубленіе другого подсвѣчника служило ему чернильницей, и онъ макалъ туда перо въ спѣшной работъ. Помнится, именно свою книгу «L'Eglise universelle» писалъ онъ въ Пустынкъ, усадъбъ графини Толстой,

го тозяйства интался одной морковью. Непремінно заізжаль каждое лісто къ намъ, гді бы мы ни жили, иногда поселялся въ опустівшій нашъ домъ для работы. Его другь, мой брать Левь, всю жизнь до страшныхъ революціонныхъ дней включительно, прожиль на назкомъ верху нашего дома, гді жили всі братья, въ студенческой своей комнаті, окнами на нашъ большой дворъ. Соловьевъ входиль къ нему, нагибаясь, чтобы не стукнуться о притолоку двери.

— Хорошо-ли вамъ тамъ, Владиміръ Сергѣевичъ? — спрашивала его моя мать, — спите-то хорошо? Не мѣшають вамъ по утрамъ?

 — Нисколько. Только воть это угро курица вздумала рожать и подняла вопль необузданный.

Безъ постояннаго правильнаго заработка, всегда гонимый за свою работу, которую запрещала цензура, слабый здоровьемъ, опъ очень нуждался въ деньгахъ. Это была ввчная забота Поликсены Владиміровны, ввчная ея тревога.

Соловьевъ бъдствоваль еще и потому, что отдаваль все, что имъль, куда и какъ попало. Постоянно щли у насъ наши общія семейныя обсужденія его необузданнаго нрава. Опъ какъ будто не могь видьть деньги, держать ихъ въ рукахъ, чтобъ не отдать. И дълаль это совершенно зря, по мижнію всжув. Подкатываль въ Покровскомъ къ нашей даче въ нарядной, почти лихаческой пролетит одинъ изъ рослыхъ сыновей богатаго двора Барановыхъ; выходиль Соловьевь съ развивающимися волосами, въ макферлань. который онь называль «безрукавной летучей мышью», и чтото отдаваль извозчику. После втого и слышала изъ своей летской. какь отець мой жаловался рядомь въ спадыт матери: «Нвть. Володя хорошъ! Вздиль съ Барановымь за рубль съ четвертью, и то дорого... — прівхаль и отдаль ему... гляжу: трехрублевку! Понимаешь, — даже не поблагодариль его. Поглядвль съ удивленіемъ и повхаль. А бъдная Поликсена Владиміровна...» Мы всё привыкли и къ этимъ жалобамъ, и къ тратамъ Соловьева. Разсказывали, что повадился въ нему подъ окно ходить разносчикъ, и онъ бросалъ деньги, ничего не покуцая. Въ «районъ» Пречистенки вст знали его. У извозчиковъ — самыхъ послт инщихъ праздныхъ обывателей, подолгу стоявшихъ на углахъ, имввшихъ во всехъ домахъ постоянныхъ вліснтовъ и знавшихъ всё «дни» на недълъ и всъхъ ихъ посътителей (дни эти они называли «балами») — съ быстротою молиім распространялась въсть, что прібхаль Владимірь Сергвевичь. Они часами дожидались передъ домомъ, соблюдая между собою какую-то очередь. Нищіе прихоании изладека и тоже въ какомъ-то установленномъ порядкъ. —

ждали у двери и у Соловьевыхъ, и у намего дома, гдв быль особенно удобный для всяких сборищь, беседь и ожиданій, большой подъжадъ. Особенно одинъ нишій, бывшій раньше натурщикомъ въ школъ Живописи на Мясницкой, куда съ юныха лътъ вздила на уроки Сена Соловьева, — высокій, съ съдыми баками, ярко краснымь носомь, въ дворянской фуражко, сделанся какъ-бы общимъ знакомымъ и пользовался особымъ почетомъ. Кто онъ быль, никто не зналь. Знали, что онь быль пьянина, и иногла приходиль съ такимъ нылающе-краснымъ лицомъ и глазами, тавимъ даже фіолетовымъ носомъ и такимъ запахомъ вина, что быдо противно и жутко. Въ школъ обращаль на себя вниманіе тьмь, что совершенно неожиданно и, что называется, — ни къ селу, ни къ городу, произносиль французскія слова. Сидить - сидить и скажеть pas du tout. Сена его недурно написала на урокт, и я съ пътства привыкла къ его липу съ бакенбардами. Онъ такъ и звался у насъ — нищій Володи Соловьева, такъ какъ у брата были свои постоянные, но въ отсутствіи Соловьева онъ переходиль къ брату: послів же его смерти перешель сововив, зналь всв часы его лекий, уроковь и посъщеній редакцій, ходиль иногда прямо въ университеть, или ждаль у насъ въ Гагаринскомъ персулкъ у подъезда и звонилъ, пока брать разсчитывался съ своимъ придворнымъ извозчикомъ Спиридономъ. И всегда соблюдалъ при этомъ умъренность, приходиль въ извъстные дни и получаль не больше двугривеннаго, часто бъжаль въ лавочку мънять рубль, если не было мелечи. Но все это были траты небольшія. У Соловьева были и серьезніве. То и дъло приходили къ нему, черезъ неосвъщенную залу, прямо въ его комнату, съ большимъ столомъ передъ окнами, какіе-то неизвъстиме люди, иногда странные и казавшиеся скучными, часто старики, и о чемъ-то говорнии подолгу. Впрочемъ, тогда это было въ обычай. Быль какой-то подковникь, страдавшій, по его собственному признанію, «наноромъ мыслей», котораго долго посылали отъ Аксакова къ Черняеву, отъ Черняева къ Толстому, отъ Толстого къ Соловьеву и наконецъ, когда уже совсемъ не знали, куда послать. — послади къ извъстному всей Москвъ — С. А. Юрьеву. Соловьевь часто отдаваль такимь людямь суммы довольно крупныя, иногда все, что въ данную минугу имель. Большой разговорь v насъ быль тогда, когда сшили ему хорошее ватное пальто, — онъ и отдаль его сейчась-же голодному и оборванному студенту.

Соловьевъ быль упрямь, своенравень и не обращаль на общее негодование совсимь никакого внимания. Даже сердился.

— Не могу же я ему не отдать, когда у него ничего нъть !...
— запальчиво, на высокихъ нотахъ, говорилъ онъ.

 Знасть, что Поликсена Владиміровна опять сошьеть, возмущались мои родители.

Забавиће всего, что какъ-то во время его беседы съ меньшими сестрами и со мной, что случалось рёдко, мы его боявись и смотребля, какъ на человека, намъ недоступнаго, — онъ пресерьезно доказываль намъ, что по природе скупъ.

— Чего ты хохочещь?—сердито возражаль онь Сенв, и липо его было по двтски, совсвые серьезно и напоминало чвыть то выражение Сены: — если я говорю тебв, значить, я знаю. Я могу отдавать что-инбудь, потому что я хочу этого и борюсь съ собой. А по существу, на самомъ двяв — я очень скупъ, и мяв многое нужно и бываеть жалко разставаться. Отгого и борюсь. Это вовсе не смынно... — Странно было видвть его за чвыть инбудь житейскимъ, связаннымъ съ мельими интересами. Ввроятно, осуждаль онъ себя, когда тоже намъ показываль стклянки одеколона, элексира, какой-то туалетной воды, которые накупиль въ рвдкій періодъ получки денегь. — Моть и фатъ, — неожиданно сказаль мой меньшой братъ, когда Соловьевъ пришелъ къ намъ въ красномъ галстукв; должно быть кто-нибудь подариль ему.

Онъ писамъ матери въ 1886 г., когда ему было 33 года, и когда онъ позировалъ Крамскому для извъстнаго портрета, что двъ дъвочки выбъгали къ нему отъ вівейдара и, хватая его за полы шубы, восклицали: «Боженька, Боженька», — «видамо принимая меня за священника. А недавно, на лъстницъ Европейской гостиницы незнакомый, почтенный господинъ съ съдою бородой бросился ко мнъ съ радостнымъ возгласомъ: «Какъ, вы здъсь батюнка?» и когда я ему замътилъ, что онъ, въроятно, меня принимаетъ за другого, — то онъ возразилъ: «въдь вы, отецъ Іоаннъ?» — на что я, конечно, замътилъ, что я не только не отецъ Іоаннъ, но и вовсе не отецъ ни въ какомъ смысяъ...»

Въ самомъ дѣлѣ видъ у него былъ такой, что хотѣлось его принять за священника, или старообрядческаго архіерея, хотя блѣдное, красивое лицо его съ чистыми линіями и полными ума и огня глазами, несмотря на сѣдѣющіе волосы — было полно жизни, силы, даже страсти и молодо до дѣтскости. И сутуловатая фигура ръ иныи минуты поражала стройной щеголеватостью.

Съ юности онъ вель жизнь, которая ужасала всёхъ, его знавшихь. Работалъ непрерывно и всегда по ночамъ. Наверху намей яковлевской квартиры, въ кабинетъ огца, его пріятель докторъ Вътровъ разсказываль ему про своего сосёда по монастырской гостиниць у Троицы, Владиміра Соловьева. Вътровъ, гатаристь, сочинявшій прекрасныя музыкальныя вещи и курившій Жуковъ табакъ въ чубукъ, братый и смъшливый, говориль съ ужасомь:—

Слышу, понимаете, рано утромь, элакъ въ половинъ седьмого, въ корридоръ голосъ Соловьева: «человъкъ! человъкъ!» Лумаю, что такое, не забольть ли? Высунумся—вижу:--стоить Владимірь Сергвевичь бладный, измученный . . . совсемь одетый . . . Что вы. Владиміръ Сергвевичь? Отчего такъ рано? — Да какой рано... Воть хочу чаю спросить, очень спать хочется... Кринкаго бы чаю . . . — Это онъ еще не ложился! — и Вътровъ залился побродушнымъ смехомъ. Бывало досадно и смешно слушать, какъ они вдвоемь съ братомъ Львомъ совъщаются, какъ лучие бороться со сномъ. — Знаемь, я прилумаль превосходное средство. — оживденно разсказываеть Владимірь Сергфевичь, серьезно и убъжденно: — самое трудное бываеть -- это въ исходъ четвертаго часа. И вогь туть, понимаешь, я ложусь, т. е. сажусь въ кресло, привалившись. Усталость такъ сильна, что засычаемь мгновенно, но, такъ какъ положение очень неудобное, скорчившись то всего минуть на пять, самое большее на десять - и непременно проснешься. И. преиставь, совершенно иначе себя чувствуещь, отлично можно продолжать.

Съ моимъ братомъ Львомъ Михайловичемъ, Левушкой и Левономъ, какъ онъ звалъ его, у цихъ было огромное душевное сходство, точно у двухъ братьевъ, и отношенія были такія, какія бывають у родныхъ братьевъ, близкихъ по духу. Не то, что называется собственно другомъ и что пріобрѣтается позднѣе, на общихъ путяхъ жизни, но что-то не меньшее, а во многомъ и большее, и шло это неизмѣнно, всю жизнь. Дюбопытно, что оба они были «педобосками».

Умѣніе молчать, упрямо, строго, мрачно и непробудно — было особымь свойствомь Владнміра Сергѣевича. Въ обществѣ, на сборищахь, что называется «въ гостяхъ» съ нимъ бывало это особенно часто. Никогда нельзя было ручаться за то, что онъ будеть оживленъ и интересенъ. Весь онъ виезапно и безнадежно уходилъ въ себя. Липо дѣлалось страшно серьезно, какъ бы недоступно никакимъ впечатлѣніямъ, самъ онъ сидѣдъ глубоко въ креслѣ, нога на ногу, голова какъ-то уходила въ плечи, черныя брови хмурились, и сосредоточенная упорная мысль столла въ глазахъ. Посторонніе вопросы, а иногда удивленіе окружающихъ не производили на него никакого впечатлѣнія — отвѣтитъ кратко и замолчитъ. И, бывало, ночью, усталая послѣ оживленнаго вечера, ложишься спатъ и, какъ встарь, слышишь слова отца въ спальнѣ: «Володя нынче — точно онъ убилъ кого-то»

Полное равнодушіе, почти презрівніе къ чужому мижнію, сознаніе, что очень естественно, что его не понимають, и совершенно невольное, тоже какъ-бы врожденное чувство превосходства своего надъ другими, уживалось въ немъ съ необыкновенной добротою, пониманіемъ всякаго чужого страданія и всегданнею готовностью сдёлать все для его уничтоженія... Отець мой его любиль нёжно, какъ сына, при всей силонности разбирать его недостатки. Любили его всё мы, и наша старая прислуга, и извозчики съ нашего угла, и нище съ подъёзда. И такъ было всегда. Старая наша горничная Дарья, которую нерёдко поминаль въ своихъ стихотвотворныхъ письмахъ къ моему брату Соловьевъ — давно рёшила, что оба они — и брать, и Владиміръ Сергъевичъ — святые.

VШ.

То, что захватывало всю душу и всю сложную жизнь Соловьева, помимо въры и науки, — была любовь. Въ этомъ при всемъ несоразмърномъ различін по возрасту и по значенію, онъ совершенно не отставаль отъ своихъ сестеръ, моихъ друзей — или лучше сказать — она какъ-бы въ этомъ отношения совершенно слядовали за нимъ. Въ чувствъ ихъ было много общаго до странности. — въ его всепоглощающей силв, въ отпошении къ исму, въ отдаленности отъ жизни обычной, въ его какъ-бы наджизненности. И въ то же время совершенно не было въ немъ того идеализма, платоничности, исключительной духовности, которую такь часто опінбочно приписывають Соловьеву. Онъ быль челов'ять очень сильных в чувствъ и сильной страсти. Любовь доставляла ему наибольшім страданія. Жизнь его была однако совершенню отлична оть жизни мужской молодежи его кружка и времени. Къ обычной распушенности, легкости связи безъ любви, онъ относился съ отвращеніемъ.

Влюбленъ онъ быль всегда и при томъ, какъ обычно было со всёми Соловьевыми, какъ-то всегда всё знали объ этомъ. Слишкомъ ярки, сильны, сложны было эти переживанія, чтобы можно было ихъ скрыть. Слишкочъ многое влекли за собой.

Можно также сказать, что любовь его была всегда несчастна, въ томъ простомъ, по крайней мфрв, житейскомъ смысль, какъ принято это разумъть. Мы всегда знали объ его романахъ, въ особенности о главныхъ и позднъйшихъ изъ нихъ. Несчастный ихъ характеръ быль, пожалуй, и неизбъженъ, — любилъ онъ женщинъ властныхъ, привлекательныхъ, подчинявшихъ себъ, при томъ сложныхъ, пе простыхъ, которыя его мучили, и къ самымъ мученьямъ этимъ его какъ-бы влекло.

Первая любовь, по крайней мёрё изъ наиболёе серьезныхъ, была въ двоюродной сестре, — Кате Романовой. Онъ быль девятнадцатильтній мальчикь, ей же кажется едва минуло пятнадцать

льть. Катя была красавина. Поздней, будучи сестрой милосердія въ Туренкую войну, она въ дазареть остановида на себъ вниманіе Императора Александра. Государь взядь ее за полбородокъ и говориль съ ней. По тогдащией терминологіи ее называли кометвой. То, что она была красавиней, съ смугло-бледнымъ лицомъ, длинными глазами и страннымъ сходствомъ съ испуганнымъ выраженіемь Сикстинской Малонны — было кажется все, что можно было сказать о ней. Мы однако благоговёли передъ ней, а Сена была въ нее «влюблена». Письма къ ней Соловьева, напечатанныя много спусти после его смерти въ «Вестнике Европы», подробно рисують душевное его состояние того времени и его самого. Всломинаешь ихъ при чтеніи его милой маленькой пов'єти «На зар'в туманной юности», гдф онъ, очевидно, говорить о себф. При всей мололости Кати и непричастности ея къ очень серьезнымъ вопросамь онь все время разсуждаль сь ней на самыя отвлеченныя темы и делился своими философскими убъжденіями.

Гораздо поздиће, въ Дубровицахъ, близъ Подольска, гдѣ братъя и Соловьевъ бывали въ семъѣ Поливановыхъ, Владиміръ Сергъевичъ встрътилъ Елизавету Михайловиу Поливанову, энергичную, остроумную, самостоятельную дѣвушку, шумную и своеобразную. Любовь его къ ней не была раздѣлена. Впослъдствии ей было посвящено извъстное стихотвореніе:

Въ быдые годы, любви невэгоды Соединяли насъ.

Повидимому исцаление отъ этой любки было прочно и совершенно: Владиміръ Соловьевъ въ это время подощеть къ самому главному періоду своей жизни: онъ уже встратилъ Софью Петровну Хитрово, которую любилъ глубоко и долго. Есть мивніе, что вся жизнь Соловьева — есть въ сушности — сплошной его романъ съ этой женщиной.

Мы слышали объ этой любви уже гораздо подробиве, тёмъ более, что начало ея совпало съ нашей юпостью. Лично этой жепщины мы не знали. Какъ-то вечеромъ Володя вошель къ намъ въ залу, гдв мы всв были, съ двочкой лётъ десяти, чрезвычайно изящной, въ короткой шубкв, шаночкв и съ башлыкомъ вокругъ шеи. Пока она здоровалась, присвдая и не смущаясь, онъ съ нежнымъ смяхомъ глядвять на нее. Звали ее Ветой Хитрово. Соловьевъ откуда-то долженъ былъ отвести ее домой. Весь онъ былъ полонъ оживленія, озаренъ необычайнымъ внутренникъ святомъ, имя которому — счастье.

Что могли мы знать о ней, о замужней женщинь, которую онъ

любиль? Какъ водится, всё говорили объ этой любви, критиковали и жалёна... Находили, что она его «мучаеть», что она некрасива, что у нея наружность больной кошки, или тигрицы и поравительно красивыя руки. Краткія пригласительныя записки, которыя получаль оть нея Володя въ родё: «Я нынче дома, у меня много цвётовь. Приходите...» — раздражали всёхъ у него въсемъв... Несомевню, однако, что это была женщина замёчательная, съ тонкимъ умомъ, большой культурою и большимъ вкусомъ, интересовавшаяся всёмъ и умёвшая привлекать къ себъ крупныхъ людей, и въ высшей степени обаятельная. Она жила съ теткой, графиней Толстой, вдовой поэта Алексёя Толстого. Самый воздухъ, которымъ Соловьевъ дышалъ у этихъ двукъ женщинъ, атмосфера искусства, тонкости отношеній и духовнаго изящества — были еду пеобходимы.

Мы никогда не знали, счастливь ди онь нь своей любви и въ чемъ состоять препятствія къ этому счастью, но знали, что онъ испытываеть полноту жизни, которой завидовали. То, что онь очень страдаль, не могло укрыться оть насъ. Одно время, очень короткое, называль ее своей «невъстой», потомъ пережиль какоето великое крушеніе, больть и много мучился. Всъ лучшія его стихотворенія относились къ ней, были выношены около нея и вдали отъ нея.

Уходишь ты и сердце въ часъ разлуки Ужъ не звучить желаньемъ и мольбой. (1880).

О какъ въ тебѣ лазури чистой много И черныхъ, черныхъ тучъ. Какъ ясно надъ тобой сілеть отблескъ Вога Какъ здой огонь въ тебѣ томителенъ и жгучъ. (1881).

Вижу очи твож изумрудныя...

Я добился свободы желанной.

И наконецъ извъстное стихотвореніе:

Бѣдный другь, истомиль тебя путь. Темень взорь и вѣнокъ твой измять. (1887).

Сила его любви и глубина его переживаній захватывали всёхъ, его знавшихъ. И потому не только его меньшія сестры, но и всё друзья были какъ бы оскорблены, смущены, когда уже къ конпу

его жизни совершенно неожиданно, на какомъ-то свътскомъ маскарадъ, онъ вдругъ влюбился до потери головы въ женщину въ маскъ, подошедшую къ нему и уколовшую булавкой ему руку... Романъ этотъ длился недолго и тоже доставилъ ему не мало страданій...

Такъ-же, какъ называль онъ себя скупымъ, такъ считалъ человъкомъ грубыхъ страстей, съ которыми онъ боролся. Объ этомъ особенно хороно говорить въ своихъ восноминаніяхъ его сестра Марія Сергъевна Безобразова. Въ представленіи о Соловьевъ, по крайней мърѣ въ глазахъ насъ, близко знавшихъ его, сложился рядъ недоразумъній. Безплотный аскеть, какъ-бы далекій отъ всего мірского, съ мечтательнымъ взглядомъ и длинными кудрями, совершенно не соотвътствоваль истинному его образу. Все земное — отъ природы до искусства, любви и наслажденій — было совершенно близко ему.

«Земля владычица. Къ тебъ чело склонилъ я И сквозь покровъ благоуханный твой Родного сердца иламень ощутилъ я, Услышалъ трепеть жизни міровой.

Но пребываніе во Христь, Когораго они любиль, делало все низменное ему чуждымь. Жизнь его была не похожа ни на какую другую.

Бездомный, онь и питался, какъ странникъ. Соловьевъ никогда, съ тѣхъ поръ, какъ я помню его, не ѣлъ мяса. Въ своей предсмертной исповѣди онъ рѣшительно ваявилъ священнику, что ниногда не былъ вегетаріанцемъ. Воздержаніе отъ мяса былъ какъбы постъ, который онъ наложилъ на себя; къ тому же онъ считалъ этотъ постъ для себя здоровымъ. Питаясь неріодами одною морковью и даже какъ-то никавъ не питаясь, всегда воздержанный, онъ любилъ изысканныя кушанья, вино. Мой меньшой братъ, живя нѣкоторое время въ гостиницѣ Англія, былъ очень удивленъ, когда Соловьевъ пригласилъ его къ себѣ въ номеръ и угощалъ откуда-то раздобытой бутылкой шампанскаго съ зернистой икрой. Сидя на дачѣ наверху за занатіями, я слышала, какъ за стѣной Соловьевъ, потягиваясь, говорилъ съ братьями: — «охъ, охъ, охъ, наконьячились мы вчера сверхъ разума». И случалось это всегда неожиданно и совершенно какъ-бы безъ причины.

IX.

Въра Владиміра Соловьева была не системою, не головной теоріей, а врожденнымъ, посланнымъ ему какъ бы совершенно пемимо него самого даромъ. Пожалуй, это и вообще было присуще ихъ семьв. Спросишь, бывало, Сену, есть ли у нея сомивніе въ будущей жизни? — И она отвътить серьезно, прямо въ глаза — «совершенно нътъ. Понимаеть, это у меня что-то особенное, туть и васлуги нътъ: я просто совершенно увърема, что это есть». — И стоить только взглянуть въ ея глаза, съ отмътинкой на одномъ глазу, — чтобы понять всю глубину искренности ея словъ.

Соловьевь говориль какь то съ темъ-же можнь меньшимъ братомъ и чуть ли не именно за бутылкой шампанскаго въ его номерѣ — о безсмертін, о состоянія души послѣ смерти.

- Значить ты думаешь, началь брать, но Соловьевь ръзко перебиль его:
 - Я не думаю, я знаю...

Онь рано оставиль спиритизмь, считаль занятіе этимь предметомъ вредпымъ и «физически и морально». Но постоянное чувство сверхъестественнаго, общеніе съ нимъ, никогда не покидало его. У него были нерѣдко видѣнія, по ночамъ, при пробужденіи, — не то «просоночное состояніе», не то галлюцинаціи, о которыхъ, въ особенности въ тѣхъ случанхъ, когда эти явленія были странны, онъ разсказывалъ съ своимъ заразительнымъ смѣхомъ. Разсказывалъ, что почувствовалъ ночью, какъ кто-то толкнулъ его; открывъ глаза, увидѣлъ стоящую въ ногахъ странную, блѣдную женщину, пристально смотрѣвшую на него. — Что тебѣ? Кто ты? — молалъ онъ ее и изображалъ намъ, какъ она отвѣчала, не разжимая губъ: — люби меня, меня никто не подимаетъ . . .

Все это быле такъ странно, что смѣшило насъ. Какъ и Лостоевскій, Соловьевъ «вѣрилъ въ чорта».

И. Н. Страхову онъ писаль: «Я не только вёрю во все сверуъестственное, по собственно говоря, только въ это и вёрю». А послё его кончины писаль своему другу: «Пишу некрологь Н. Н.
Сърахова — воображаю — какъ онъ теперь удивлень и сконфужень. Воть бранить то его буду, когда увижусь; не отхихикается».
И когда онъ сидёль, вдругь погруженшый во что-то, совершенно
далекое отъ происходившаго кругомъ него, съ глубокою, пламенною
мыслью въ глазахъ, — казалось, что онъ соприкасался съ другимъ
міромъ.

Онъ придавать большое значение снамъ, постоянно о нахъ разсказывалъ и разспращиваль объ ихъ значени Анну Кузминичну. И въ письмахъ онъ постоянно упоминалъ о снахъ. Писалъ профессору Гроту въ Царидыно, гдѣ всѣ мы жили: «видѣлъ Левона во снѣ въ дурномъ видѣ. Что съ нимъ?» «Опять видѣлъ Левона». Какъ бы ни былъ онъ далеко, его чувствовали всѣ близко, —все заботило его, и всѣ знали, что онъ готовъ всего себя отдатъ, чтобы помочь, и не по принципу, а изъ любви ко Христу. На Христѣ и только на Немъ, даже не на его ученіи, а на Немъ Самомъ строилась вся его ориганальная и глубокая, едипственная въ русской философіи система, политическія его дѣйствія и вся его жизнь.

Въ этой своей жизни онъ не былъ дерковенъ въ обычномъ смыслъ этого слова. У него былъ обще-интеллигентный взглядъ даже върующихъ русскихъ людей: немножко такъ, что все это, по тогдашнему выраженію, какъ-бы «не про него» и ему подобныхъ «писано». И въ то же время — ученый знатокъ и догматическаго богословія и исторіи церкви — онъ и церковь Христову па землѣ защищаль въ то время, когда вопросъ этоть мало кего занималь, а серьезный интересъ къ нему казался чудачествомъ.

Редко пострая службы, онь часто говель. Заболевь чемь-то въ родъ тифа, въ домъ матери, на Пречистенкъ, почувствовалъ себя слабымь и настоятельно потребоваль священника. Къ нему прибыль пр. А. М. Иванцовъ-Платоновъ, ученый богословъ, славившійся въ Москвъ удивительнымъ чтеніемъ Лвънавнати Евангелій, на которое събзжалась вся культурная Москва. Въ домъ вев были угнегены, какъ всегда въ такихъ случаяхъ. А. М. Иванцовъ-Платоновъ быль у Владаміра Сергфевича очень долго и долго съ нимъ говорилъ; твиъ не менће, выйдя отъ него, сказалъ, что не причастиль его, что въ состояній его повидимому ніть пичего угрожающаго, а такъ какъ Соловьевъ что-то влъ утромъ, - причастіе они отложили. Александръ Михайловичь, человъкъ большого ума и удивительной доброты, можно сказать даже святости, выщель оть него, какъ бы чемъ-то озабоченный и угистенный. Такъ, не крайней мёрё, мит казалось. Мы тогда совершенно удовлетворились этимъ объясненіемъ. Но после мив пришло на умъ, не быль-ли въ этомъ случав между ними тотъ споръ по догматическому вопросу, въ которомъ признаванся и каялся Соловьевъ священнику въ своей предсмертной исповедв, и который имель значительныя послёдствія?

Изъ службъ онъ чрезвычайно почигалъ день Святой Тропцы, гридавая большое значение кольнопреклоненнымъ молитвамъ за гечерней. И всегда по возможности шелъ въ этоть день въ перковь.

И было что-то въ его въръ простое, какъ бы совершенно неотъемлемое отъ него, изнутри идущее. Въ томъ, какъ онъ крестился, садясь за столъ, какъ снималъ свою мягкую широкополую шляцу, какъ ходилъ по кладбишамъ, — кладбища онъ особенно любиль и, думаю, едва ли пропустиль хоть одно изъ нихъ во время своихъ путешествій.

Смерти Соловьевь не боялся.

Когда припла холера, к всё были более или менее охвачены паникой, онь забавляяся стихами:

Не боюся я холеры, Ибо приняты всё мёры . . .

Не боялся онь и вообще ничего, чего принято было бояться. Когда одинь изъ его любимыхъ друзей заболёль острымь психическимъ разстройствомъ, сидёлъ съ нямъ дни и ночи, уговаривалъ и удерживалъ и отвезъ въ больницу.

Любимый всёми, кто близко зналь его, онъ однако тоже имёль своихь враговь. Гордая и смёлая душа его какъ бы задёвала людей своей исключительностью. Правда, въ его отношеніяхъ съ людьми, въ манерё держать себя, даже смёяться, пугая всёхъ, въ самомъ его благодушій и благожелательности было незаглушимое превосходство его передъ другими, которое онъ какъ бы хотёль и не умёль скрыть. Это быть можеть и безпокоило души болёе медкія. Впрочемь, при всемь этомъ превосходстве и сознаніи его у Соловьева, повторяю, была самая искренняя любовь къ людямь, исходившая все оттуда-же — изъ любви къ Христу, изъ поднаго восхищенія, если можно такъ выразиться, Имъ.

X.

Старый Соловьевскій слуга Алексвій обокраль Владиміра Сергвевича. Исторія эта взволновала всіхъ, его знавшихъ, наши двіз семьи особенно. Алексвій быль человікть не молодой, маленькій, сь жидкими взьерощенными желтыми волосами и тараканьним усами, за что Маша не безъ мізткости сравнивала его съ облетівнимъ одуванчикомъ. Онъ говориль отрывисто, въ носъ, подавам жаркое, угощаль насъ тихо, пода общій говоръ: «тетеревъ... что жъ вы . . . » и въ носъ ворчаль угрожающе, особенно, когда быль пьянъ, — за ширмой въ нередней, гдіз жилъ.

Въ 1886 году, уже весь охваченный своей новой идеей соединенія церквей, гонемый за свои лекціи и книги и бъдствовавпій, Соловьеть собраль съ немалымъ трудомъ деньги, и таль заграницу печатать свою «Теократію». Въ самый день отътада, выйдя изъ своей компаты, и вернувшись въ нее черезъ короткое время, онъ ваяль со стола бумажникъ и увидъть, что изъ него вынуты вст деньги, иятьсотъ рублей, приготовленные для путешествія. Отчаннію его не было предвловь. Владимірь Сергвевичь жить одинь, было літо. Кромів слуги, никого не было дома, это-то главное и поразило его. Онъ призваль Алексія въ свою комнату и началь, взволнованный, блідный, умолять его покаяться и сознаться, — за это обіщаль ему никому не говорить... и даже наконець отвернулся и сказаль твердо, что ничего не знаеть. У нась въ дівниьей оживлено разсказывали потомь, какъ Алексій пошель къ гадалкі и принесь ен приговорь: «на рыжаго думають, а черный взяль». А Сена нарисовала эту сцену и подписала: «Алексій у гадалки». Убхавь въ деревню, онъ открыль тамь лавку, пожертновавь въ перковь икону съ лампадой и быль выбрань церковнымь старостой.

Соловьевъ долго не могь успоконться. Деньги ему собрали, и онъ укхаль. Но мучило его не то. Онъ все надъялся, что Алексви раскается и возвратить... До какой степени мысль о непорядочности человъка, котораго онъ привыкъ считать членомъ семьи, угнетала его, показываеть его письмо къ матери осенью: «Милая мама, если Вамъ и сестрамъ все равно, то пріважайте въ Москву немножко пораньше, а то мнѣ было бы счень непріятно прівхать въ пустой домь, или не столько въ пустой, сколько наполненный воспоминаніями объ Алексвѣ и т. д.».

Такой челов'ясь не могь быть равнодушнымь ни къ какимъ челов'яческимь страданіямь.

Изъ его въры во Христа и любви Христовой вытекала его защита евреевъ. Жизнь, окружавшая его, какъ бы она ни была просвъщенна и полна высокихъ интересовъ — была все же далека отъ такой любви. Изъ этого вытекали не только всъ трудности его пути, по и всъ недоразумънія, на немъ создававшіяся. Соловьевъ не былъ ни монархистомъ, хотя христіанскую монархію называль «Самодержавіемъ совъсти», ни революціонеромъ, хотя, подвергаясь преслъдованію, невольно дъльть ихъ участь, ни католикомъ, ни православнымъ, какъ понимаютъ эти слова, — онъ быль христіаниномъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, и потому нужно сказать, что онъ быль не аполитиченъ, а надполитиченъ.

Про еврейскій вопросъ онъ говориль, что это прежде всего вопросъ христіанскій, вопросъ о томъ, насколько христіанскій общества во всёхъ отношеніяхъ и между прочимъ въ отношеніи къ евреямъ, «способны руководиться на дёлё началами евангельска-го ученія, испов'вдуемаго ими на словахъ». Любопытно, что въ втомъ вопросъ онъ находиль поддержку у М. Н. Каткова и ссылался на статьи его въ «Московскихъ В'ядомостяхъ». Все вто было

такъ же далеко отъ обычныхъ пріемовъ и побужденій борьбы, какъ и тогда, когда онъ быль высланъ изъ Петербурга за то, что заговориль о заповъди Христа.

XI.

Могь ди Соловьевь не придти къ тому, что послужило наиболье о иденопоси си -- инкиж ото и иоде ото и сменежвана сминия соединеній перквей? Конечно, ніть. Это быль послідній этапь его последняго пути и по всемь свойствамь его души этоть этапь не могь быть инымъ. Въ мечть своей о преобразования всей жизни, въ несомивниомъ предчувствии надвигающагося великаго всеобщаго крушенія онъ не могь не видеть, что все, что идеть за Христомъ, должно быть воедино въ Немъ. Католичество, его высокая вультура и духовная мощь, новые люди, съ которыми онъ столкнулся, сила ихъ въры — дали ему новыя духовныя силы. Но кажется, ни одна изъ его идей не встрачала столько вражды, непониманія и въ дучшемъ случав равнодушія, какъ мысль о соединенін церквей. О наукв нечего и говорить, въ обществів она была не нужна, никто ею не интересовадся, а со стороны высшаго духовнаго начальства и духовной цензуры началась систематическая травля. Начавши свое ученое поприще смёлою борьбою съ невъріемь, патріоть, въровавшій во вседенскую миссію своего народа, православный христіанинь съ начала сознательнаго возраста, онъ больше всего страдаль оты представителей родной церкви.

Главныя мученія Соловьева состояли въ постоянномъ запретв цензурою всего, что окъ котвять печатать и издавать. Его письма, разговоры, самый видъ, когда онъ появлялся, — отражали его пеобыкновенную душевную тревогу. Онъ какъ бы выбигъ былъ совершенно изъ колея, страдалъ физически и душевно-

1887 годь, къ которому относятся эти его страданія, вообще кажется быль самымь тижелымь годомь его жизни. Къ этому же времени принадлежить его стихотвореніе: «Біздный другь истомиль тебя путь».

Мысль о необходимости соединенія «двухъ великихъ половинъ христіанскаго міра» возникла у Соловьева въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Въ 1885 году онъ писалъ епископу Штроссмаэру свое первое письмо, датированное: «Москва въ день Непорочнаго зачатія Пресв. Дівы . . . » Въ этомъ письмѣ онъ говоритъ: «Отъ этого соединенія зависитъ судьба Россіи, Славянства и всего міра. Мы, русскіе, православные и весь востокъ мичето не можемо сдалать, пока не загладимъ грѣхъ церковнаго раздѣленія, пока

не воздадимъ должное власти первосвященнической. Сердце мое горить отъ радости при мысли, что имѣю такого руководителя, какъ вы».

Радость, зажигавшая его сердце, какъ и страданія пресл'ядованій и непониманія, — д'влади его совершенно одинокимъ.

Въ этотъ же 1887 годь опъ прочель въ залъ Историческаго музея свою лекцію — «Славянофильство и русская идея». Изъ офиціальной программы, разръшавшейся генераль-губернаторомь,
ему пришлось исключить самое слово церковь и замѣнить его словами «мистическій элементь». Объ этой лекціи онъ самъ писаль:
«Можно себъ представить негодованіе Московской славянофильской публики, которая въ большомъ числѣ собралась меня слупіать. Я очень доволень этимъ негодованіемь, такъ какъ оно должно было остаться на степени субъективнаго чувства и не было въ
состояніи противопоставить моей идеѣ что-нябудь объективно значительное».

На самомъ дѣлѣ у Соловьева не било счастливаго вида ни на этой лекціи, ни послѣ нея. Отношеніе къ нему давно мѣнялось вообще, и брать мой всноминаль по этому поводу его первые успѣхи нѣсколько лѣть назадъ, на его лекціяхъ о Богочеловѣчествѣ, о Достоевскомъ, вѣроятно, еще больше послѣ перваго Марта; оглушительные крики и апплодисменты, начинавшіеся въ аудиторім тогда, когда онъ только входиль на подъѣздъ и снималь шубу. Передовая и радикальная молодежь, которая шла за пимъ, какъ за своего рода новымъ вождемъ, отступилась отъ него, когда онъ весь отдался вопросамъ религіознымъ, и не въ силахъ была усвонть ихъ.

Въ Историческомъ музев собралась публика избранная, большею частью старое московское общество, — остатокъ славянофильства, — почтенные, барственные старики, дамы, интересовавшіяся «высшими вопросами», барышни изъ серьезныхъ и православныхъ, а изъ молодежи — чинные студенты, которыхъ мы называли презрительно бълоподкладниками. Мив понравилось его своеобразное обращеніе «Почтенное собраніе», которое онъ сказалъ тихо и скороговоркой, его образный, благородный и сильный языкъ, — и то, что онъ говориль о духѣ Христова ученія, приводя слова Христа изъ Енангельской главы: «Не знаете, какого вы духа». Вторая часть кончилась неожиданно, словно оборвалась, и чувствовалось, что всѣ обидѣлись.

Анна Кузминична послё того за чаемъ въ Соловьевской столовой разсудительно находила, что безтактно и странио было собрать почтенныхъ стариковъ и всёхъ обидёть. А потомъ на большомъ сборицё въ ихъ «день», за длиннымъ столомъ ужина, под-

нялся споръ — два брата Трубецкіе різко нападали на него. Содовьевь возражаль серьезно, страстно и рёпрительно, быль взволнованъ и особенно красивъ. Мы же всв были заняты своими интересами, радостями, страдавіями и страстями своей собственной жизни, казавшимися вамъ самымъ важнымъ, что есть на светь. На нашемъ конце длиннаго стола было особенно весело. Меньшой брать, тезка Соловьева, быль въ ударъ, и назался намъ особенно забавнымъ. Я нъсколько разъ просила его налить мит воды, но, занятый общимъ вниманіемъ монхъ друзей и ихъ сміхомъ, онъ не слышаль. Вдругь поднялась во весь рость фигура Соловьева въ длинномъ сюртукъ съ хмурымъ возбужденнымъ лицомъ. Продолжая возражать Трубецкимъ, онъ подощель съ графиномъ и налилъ мир воды. Возражаль онь почти запальчиво. Мы всв притихли... Какъ и всёхъ другихъ, насъ мало интересовала тогда проповёдь Соловьева, ихъ споръ и все, чёмъ онъ горелъ. Совершенно новая, далекая намъ въ нашей жизни, мысль о признаніи папы и следовательно объ «измінт православію» казалось намъ излишнею.

Признавая полную общность церквей, православной и католической, и находя, что нёть ни однаго обязательнаго догмата для православных, который противортчиль бы католическимь догматамь, Соловьевь хорошо понималь вредь для дёла соединенія церквей индивидуальныхь случаевь перехода въ католичество.

Объ этомъ писалъ онъ и архимандриту Антонію, впоследствів митрополиту петербургскому: «Я вернулся изъ-за границы, позна-комившись ближе и наглядне какъ съ хорошими, такъ и съ дурными сторонами Западной Церкви, и еще боле утвердившись на той своей точью зрёнія, что для соединенія церквей не только не требуется, но даже была бы зловредною всякая внёшняя унія и всякое частное обращеніе. На попытки обращенія, направленным протавь меня лично, я отвечаль прежде всего темь, что въ необычайное для сего время исноведовался и причастился въ православной сербской церкви въ Загребе... Вообще я вернулся въ Россію, если можно такъ сказать, — боле православнымъ, нежели какъ изъ нея уёхаль».

Его мучили не только запрещенія цензурою всего представляемаго къ печати, хотя-бы оно «даже вовсе не касалось соблазнительнаго вопроса о соединеніи церквей», но и яростная клевета и наладки въ журналахъ, преимущественно духовныхъ, гдѣ выставляли его отступникомъ православной вѣры.

Вселенское дёло, о которомъ онъ говорилъ, опредёляло и его взглядъ на идею національную. Націонализмъ, требующій, «чтобы церковный вопросъ рёшался не ad majorem Dei, a ad majorem Russiae gloriam, не на религіозной и теологической почвё, а на почвъ національнаго самомнънія» — возмущало его . . . Сущность вселенскаго дѣла, которое должна была совершить Россія, Соловьевь выражаль словами: «Чѣмъ яснѣе вижу я все зло, проистекающее изъ націонализма, тѣмъ болѣе проникаюсь великимъ и священнымъ значеніемъ единой международной или сверхвародной церкви».

Это были годы особыхъ страданій Соловьева. Гоненія цензуры ставили его въ тижелое матеріальное положеніе. Онъ былъ безъ денегь, началь болёть. Нервное состояніе его дошло до того, что онъ не могь спать оть малёйшаго звука и по нёсколько ночей проводиль совершенно безъ сна.

Оть Троицы, куда онь увхаль для занятій, онь писаль Архимандриту Антонію, что имбеть теперь большую свлонность пойти въ монахи. «Но пока эго невозможно. Я вовсе не сторонникь безусловной свободы, но, полагаю, что между такою свободой и безусловной неволей должно быть нѣчто среднее, именно свобода "обусловленная искреннимъ подчиненіемъ тому, что свято и законно. Эта свобода, мив кажется, не противорвчить и специально монашескому объту нослушания, когда дѣло касается всецерковныхъ интересевъ. А между тѣмъ допустать ли у насъ такую свободу, не потребують-ли подчиненія всему безъ разбора, свято ли оно и законно, или нѣтъ?...»

XII.

Послѣ этого періода кончилась наша совмѣстная съ Соловьева, евыми жизнь. Старшая изъ насъ, Марія Сергѣевна Соловьева, вышла въ 1888 г. замужъ за П. В. Безобразова. Меньшая, Поликсена, уѣхала съ чатерью въ Петербургъ. Надежда Сергѣевна и Анна Кузминична оставались въ Москвѣ, Михаилъ, уже давно женатый, жилъ по близости на Арбатѣ и объединялъ вокругъ себя кружокъ новаторской литературной молодежи. Но квартира на Пречистенкѣ въ домѣ Лихутина, окнами на Зубовскую площадь, съ знакомыми извозчиками и нящими, дежурствомъ своимъ у подъѣзда оповѣщавшими всѣхъ о пріѣздѣ въ Москву Владиміра Сергѣевича, словомъ прежнее Соловьевское гнѣздо перестало существовать.

Безт очевидной перемѣны жилъ еще нашъ старый особнявъ, въ который мы переѣхали со студенческихъ лѣтъ старшихъ братьевъ, и Владиміръ Сергѣевичъ по прежнему приходилъ и обѣдалъ, и жилъ тамъ. Сборища наши измѣнили нѣсколько свой характеръ — на нашихъ «средахъ» было гораздо больше молодежи, ряды стариковъ быстро таяли.

Давно появились новые профессора — худые высокіе

князья Трубецкіе; Николай Яковлевичъ Гроть, маленькій, живой съ высоко стоящими темными велосами и живыми черными глазами, В. П. Преображенскій, М. С. Карелинъ въ двойномъ пенснэ, и много еще; и врачи-психіатры — тогда только вошелъ въ моду гипнотизмъ, интересованшій и психологовъ, и педагоговъ, и философовъ. Всй эти люди группировались вокругъ новаго, основаннаго Гротомъ философскаго журнала «Вопросы Психологіи и Философіи» и новаго Психологическаго Общества. Много было спорокъ въ кабинетъ, и наверху, у брата, въ его низенькой студенческой комнатъ, и на засъданіяхъ Психологическаго Общества, гдъ общій смѣхъ вызвалъ споръ брата съ Соловьевымъ: сначала все шло хорошо, называли другъ друга: «почтенный референть», «чой уважаемый оппоненть» и вдругъ не выдержали, — и етали кричать при всей публикъ: «Я тебъ говорю, а ты инъ возражаешь це на то!» «Что ты врешь!» и т. д.

Въ это время въ Москвъ былъ особенный центръ, собиравний къ себъ людей уже со всей Россіи и лаже, до извъстной степени. со всего міра, — сфрый, деревянный домъ съ огромнымъ садомъ, иримыкавшимъ къ психіатрической клиникв на Дввичьемъ Полт. — домъ графа Л. Н. Толстого въ Хамовинкахъ. Его «опрошеніе» вивств съ его проповънью только входили въ моду. Говорили о его комнатъ — сапожной мастерской, о его словахъ и о его «темныхъ», — такъ и самъ Левъ Николаевичъ, и его домашніе откровенно называли его опростившихся последователей, появлявшихся въ блузахъ и туфляхъ, сидъвшихъ молча но угламъ на общихъ сборищахъ, сметревшихъ мрачно и съ вызывающимъ осужденіемъ. Были особенно угрюмые и особенно нелюдимые, страшные на видъ, — съ бледными лицами, заросшими желтыми лохматыми бородами; такихъ вазывали «дремучими». Не было дома въ Москвъ, гаъ бы не обсуждали словъ и проповедей Толстого, не спорили и не бранились по поводу него. Самъ Левъ Николаевичъ въ своей бекешт съ съдой бородой, съ жесткими и умищми глазами подъ нависшими бровями появлялся то тамъ, то здёсь на московскихъ улицахъ, площадяхъ и бульварахъ, стройный, прямой, необыкновенно легкой, молодой походкой, Мы собирались въ Хамовникахъ на наши собственныя сборища молодежи, — появленіе въ дверяхъ Льва Николаевича нередко пугало насъ. Молодежь, посещавшая Хамовники, какъ кратко назывался Толстовскій домъ, была въ огромномъ больпинствъ очень далека отъ его идей.

Соловьевъ бывалъ въ Хамовникахъ, и мы знали, что они не разъ спорили съ Львомъ Николаевичемъ и не правились другъ

другу. Впрочемъ, Соловьевъ отпосился ко всёмъ съ добротой своей крупной луши.

Летомъ 1894 года онъ писалъ Толстому «изложеніе главнаго пункта разномыслія между мной и Вами». Разногласіе это по его мненію все сосредоточено въ одномъ конкретномъ пункть — въ воскресеніи Христа. Письмо это, представляющее исповедованіе воскресенія Христова, было напечатано въ «Вопросахъ Психологіи и Философіи» после смерти Соловьева.

При томъ поверхностномъ, такъ сказать, внъшнемъ взглядъ, какой имъли мы, молодежь того времени и круга на обоихъ — различе ихъ ръзко бросалось въ глаза.

Жизнь Толстыхъ, — зала и лъстища и всегда шумный отъ говора и смёха садъ Хамовническаго дома, и блуза Толстого, съ ремнемъ, за который онъ засовываль руки, и сапоги, которые точаль, и салазки, на которыхъ привозиль съ бассейна воду. весь заиндевъвній, въ валенкахъ, и его хмурое лицо, съ незабываемыми глазами, и безконечные разговоры о томъ, можно ли всть мясо и жарить кофе и не безнравственно-ли помогать деньгами, и откровенное кошунство. — и большой чайный столь. надъ которымъ озабоченно хлоноталъ молодой лакей, называвшій всьхъ членовь семьи «ване сіятельство»; и бездомное скитаніе Соловьева, и его фигура въ макферланв и длипномъ сюртукъ, его подчеркнуто иптеллигентный видь съ отросшими волосами, его подаренное ватное пальто и собственная почти нищета періодами, и болівани, и полное безстрашіє смерти и частое причастіє. Все это было слишкомь различно. Толстой, говорять, утверждаль, что вся религіозная система Соловьева. — его ввра — была чисто головнымъ построеніемъ. Не погому ли и уломиналъ Соловьевъ о его непрямотъ и неискренности, сравнивая Толстого съ Достоевскимъ? Ибо трудво допустить, что Л. Н. Толстой, при его художественномъ геніальпомъ пониманіи, могъ въ самомъ дёлё такь не разглядёть Соловьева... Съ другой стороны казалось, что Соловьеву нечему было научиться у знаменитаго «учителя жизни», какъ пазывали Толстого писатели восьмилесятыхъ головъ.

XIII

Любовь къ смѣшному не оставляла Соловьева и среди всѣхъ тяготъ жизни и сильныхъ затрудненій денежныхъ, а также частыхъ болѣзней; приключившаяся болѣзнь глаза пугала его больше всего. Онъ былъ правъ, говоря, что для него вопросъ о глазахъ былъ вопросомъ жизни и смерти болѣе, чѣмъ для многихъ.

Бользнь прошла, а с докторахь и ихъ совьтахь онъ разсказываль съ обычнымъ своимъ смехомъ. Уведомляль между прочимъ Поликсену Владиміровну, умолявшую его съёздить къ Боткину, объ отой поведкв: «А я, представьте себе, вчера ездиль въ Финляндію къ Боткину, чтобы онъ мне объясниль, отчего меня каждый день рветь. Онъ после внимательнаго изследованія никакихъ настоящихъ болезней во мне не нашель, а одну только общую «иннервацію», отъ которой, какъ радикальное средство, посоветоваль жениться или, по его выраженію, «спориться» и жить спокойно-А за неудобоксиолнимостью этого совета проимсаль нилюли.»

Юмористически относился онъ и къ собственнымъ неудачамъ и обычно, въ связи съ ними, къ вопросамъ общеполитическимъ. По поводу раздичныхъ событій и новостей вѣчно раздавался его събъхъ.

Насколько мало подходила въ Соловьеву обычная мѣрка для опредѣленія его политическаго направленія, показывають его друзья, которых было множество, и которые принадлежали въ самымъ разнообразнымъ лагерямъ, большею частью правымъ. Одинъ изъ его близкихъ друзей былъ Афанасій Афанасьевичъ Шеншинъ-Фегъ. Соловьевъ искренне и глубоко любилъ его и подолгу у нихъ живалъ въ деревнѣ. Онъ восхищался его поэтическимъ творчествомъ, считалъ его поэтомъ, принадлежащимъ въ числу самыхъ первоклассныхъ.

А. А. Шеншинъ бываль и у насъ. Съ огромной библейской бородой и длиннымъ носомъ, онъ точно сощелъ съ какой-нибудь картины, изображающей фарисесвъ и саддукеевъ. Онъ давно страдаль астмой и обыкновенно говориль, задыхаясь, голосомъ хриллымъ, медленно, серьезно и съ необыкновеннымъ внутреннимъ комизмомь, который возбуждаль общій сміхь, и все казалось, что говорить онь потёхи ради. Сидить, бывало, и характеризуеть ученіе Толстого, съ которымь быль лично близокь. — «Такъ ведь это что-жь Левъ Николаевичъ... ведь это воть тоже у насъ быль дядька», говориль онъ, задыхаясь, хрипло, медленно и виско: «Тоже все насъ поучалъ нравственной жизив. Но результата никакого. Потому что голословно. Начнеть, бывало: «надо любить папашу, мамашу... дя-я-деньку!» - и Феть восклицаль скучнымь голосомь, съ сопно-притворнымь пафосомъ, въ носъ, и продолжалъ : « и въ самомъ тонъ — такая скука, что совершенно никакой любви нътъ, а кажется, что убилъ бы его.»

Афанасій Афанасьевичь быль помѣщикомъ Курской губернів. Убѣжденія его были самыя консервативныя, даже совершенно ретроградныя, онъ быль вполнѣ солидарень съ тогдашними «Московскими Вѣдомостями» и, когда онъ разсказываль о мужикахъ, то смѣхъ подымался общій. Сидять, бывало, всѣ и прислушиваются къ его медлительной рѣчи, всегда негромкой и усталой. Но иной разъ кто-нибудь и попадется и начнеть спорить съ искреннимъ возмущеніемъ. Тогда уже интересъ поднимается общій, а Фетъ съ тѣмъ же равнодушнымъ видомъ, твердо и медленно говоритъ такія на взглядъ всѣхъ возмутительныя вещи, что начинается пѣлый поелинокъ

Соловьева увеселяли сцены изъ жизни Фета въ деревић, и онъ разсказываль о томъ, какъ толна мужиковъ у его балкона долго вела съ нимъ разговоръ, который закончился неожиданной угрозой Фета — застрѣлить ихъ изъ «поганаго ружья», если они не уйдутъ. Мужики, расходясь, сказали Соловьеву: — Ишъ, Афанасьичъ, старый чортъ, — хотѣлъ насъ застрѣлить изъ «поганаго ружья».

А. А. Феть быль близокь и гр. Толстому и С. И. Хитрово и князю Цертелеву. Въ сыновней любви и нежности къ нему Соловьева чувствовалось что-то лично важное для него. Любовь къ поэзіи Фета, котораго онь называль въ письмахъ «мой истинный, анти-утилитарный поэть» придавала ихъ отношеніямъ особую значительность. Соловьева возмущало отношеніе къ Фету критики, и онъ говориль о чувстве «обиды и стыда за русское общество», когда ни о переводъ «Фауста» Фета, ни о его «Вечернихъ Огняхъ» не было отзывовъ. Феть и его жена — тихая, кроткая, благоразумная Марья Петровна платили и ему заботой и большой привязанностью. Соловьевъ постоянно посёщаль ихъ, живаль въ деревив и скучаль за границей «по милому Воробьевскому обществу».

XIV

Мы жили врозь, но всё были соединены невидимыми, непрерываемыми нитями нашей дружбы. Въ сущности своей всё наши стремленія, вкусы, цёли были тё же. Тё же почти, въ своемъ главномъ, были вёрованія.

Мы всё занимались искусствомъ. Въ семьяхъ нашихъ не было гръха преувеличения нашихъ талантовъ. Меньшая ивъ насъ — Сена тэдила въ школу Живописи и Ваяния на Мясницкой съ ранняго возраста. Надя смъялась надъ ней за эту стойкость и увъряла, что всё мы будемъ обременены семьями и даже внуками, когда она будетъ по-прежнему спъшить на вечерния занятия, и изображала, какъ она будто-бы уже въ восьмидесятилътнемъ возрастъ, съ трясущеюся головой, будетъ сидъть съ кисточкой передъ мольбертомъ, а Сена слушала съ досадой,

но переглянувшись со мной, хохотала и дискантомъ и басомъ... Въ Петербургъ она бросила правильныя занятія живописью, но работала и выставляла картины; некоторыя изъ нихъ были куплены, одна даже лицомъ высокопоставленнымъ, что возбуждало онять таки не мало всякихь остроумныхъ наль ней замьчаній. Вся же она отдалась литературів; писала стихи, разсказы и повъсти и издавала вмъсть со своимъ другомъ Н. И. Манасеиной журналь для детей «Тропинку». Въ втомъ журнале она хотвла дать двтямь тоть религіозный и сказочный мірь, который составляль предесть ся собственнаго дегства. Книжка ся стиховъ удостоилась преміи имени Пушкина. Въ отвіть на мон радостныя поздравленія, она писала мив: «Видить Богь, что я не радуюсь и не придаю этому значенія. Одно утьшаеть меня --Пушкинъ-то теперь ужъ навърное знаеть, что я искренце совершенно не считаю себя достойной похвалы, соединенной съ его именемъ...» Видались мы редко, но всегда такъ длиниы и задушевны были разговоры.

Соловьеть болбать, но жиль той-же своей страннической, мятежной, не укладывающейся ни въ какія рамки жизнью. Также радостно было его появленіе, также, не смотря на часы замкнутаго молчанія, находившіе на него, всюду вносиль онь съ собой блескъ своего остроумія, оживленіе и смѣхъ. Вездѣ онъ быль желаннымъ гостемъ, и всѣ, его знавшіе, старались получше устроить его, облегчить ему тяготы жизнь. И было въ этомъ какъ-бы что-то схожее съ пріемомъ страпниковъ, монаховъ изъ-Спятыхъ мѣстъ палекаго прошлаго.

Письма нь брату и нь общимь друзьямь — Трубецкимь, Гроту и другимъ, читались вслухъ. Очень часто, впрочемъ. ихъ не показывали, и брать мой говориль мят вной разъ: «Принеси мив, пожалуйста, это письмо. Только не читай его. Тамъ стихотворевіе, чорть знасть какое». Это черта — любовь чистыхъ людей къ циничнымъ глупостямъ -- была въ немъ особенно забавна. Среди своихъ заботь и страданій, его какъ-бы неудержимо влекло къ смъшному, ко всякому вздору. Чувствуя какую-то навязчивую потребность въ кадамбурахъ, онъ переделываль имя брата изъ Льва въ Тигра Михайловича. - преходила Поликсепа Владиміровна съ письмомъ, гдв онъ съ безпокойствомъ спрашиваль мать: «Объ Левушкф неть ни слуху, ни духу. Я ему писаль, но такъ какъ на адрест поставиль: Крокодилу Михайловичу, а потомъ зачеркнувши: Евфрату Михайловичу, то, можеть быть это письмо и не дошло». Забавляло его почему-то слово «неврить», которымъ страдаль, по определению докторовь, и онь то и

острить и каламбуриль на его счеть. «Кому, какъ мив, доктора говорять о неврить (о, не врите...)»... и такъ далье. Мы всв очень любили его, какъ онь самъ ихъ называль, шутовские стихи, поэмы и пьесы: монологь волка изъ мистеріи «Бѣлая лилія», «Рыцарь Ральфъ», «Пророкъ», (Угнетаемый насиліемъ черни дикой и тупой), странное, бредоное «Видьніе» — «Таинственный пономарь», — все это запоминалось нами наизусть. Сена рисовала длиннаго рыцаря Ральфа съ зонтикомъ, а брать мой Левъ особенно хорошо и выразительно читаль. Но и самъ Соловьевъ произносиль такіе стихи серьезно, съ нѣкоторымъ таинственнымъ пафосомъ. До сихъ поръ какъ-бы слышенъ его голосъ всякому, кто при этомъ присутствоваль, когда всноминаешь особенно его Пономаря:

Я женщина безъ разума и воли А врагъ силенъ... Графъ Адальбертъ ужъ не вернется болъ. — Веррну-улся онъ!!

— завываль онъ свиръпо и таинственно:

Онъ беззаконной отомстить супругв. Долой стихарь! Пред ънею рыцарь въ шлемв и кольчугв — Не пономарь.

Говорять, будто въ «Попомарт» онъ намекаль на собственную свою участь, на свой главный романь. И въ то же время глубокая грусть и упорная, непобъдимая, неустранимая мысль въ глазахъ среди общаго смѣха и говора и внезапно долгое молчаніе — точно вдругъ среди людей и смѣха ушелъ куда-то.

Сидить и принимаеть участіе въ общемь разговорь. Разговорь отвлеченный — о добръ и злъ, о насиліи и чувствъ возмущенія.

— Я ничего не хочу злого, —говорить онь вдругь: — я хочу только — чтобы Победоносцевь не мешаль мис печаталь моихъ книгъ.

Мысль эта не давала ему покоя...

По поводу его замкнутой сосредоточенности, какого-то страннаго отсутствія, брать говориль съ любящею улыбкой, но не объясняя, что съ Володей бываеть что-то странное: онь вдругь (иногда за объдомъ) замолкаеть и сосредотачивается, береть кусокъ бълаго хліба и красное випо и пьеть съ благоговъйнымъ и страннымъ выраженіемъ. Въ 1897 году скончался старшій изъ тёхъ трехъ безпокойныхъ друзей, которые разгуливали по Покровскому съ тросточками и производили безпорядокъ — мой братъ Николай. Соловьевъ нанисаль моему отцу: «Со смертью Николы у меня какъ-бы оторвался кусочекъ моей собственной души. Я недавно видёлъ Васъ во сий обоихъ» (родителей) «и долго-долго говорилъ съ Вами».

Ему и давис умершему А. А. Соколову Соловьевъ посвятилъ «Три разговора», — лучшее, что онъ написалъ, по собственной его опъниъ.

Въ последніе годы, въ силу разныхъ обстоятельствь, я мало видёла Соловьева, — жизнь тогда особенно сильно захватила меня. Вдобавокъ, я забожёла и едва поправилась ко дню его смерти.

Къ больной, онъ приходилъ ко мив, сидвиъ тихо, много молчалъ. Одинъ разъ сказалъ, ямбя въ виду нервный харевтеръ бовъзви:

- Котта захочень о ень, тогда и выздоровъень.

Я понимала истипность его словь, но не могла и не хотёла объяснить ему, что у меня всобще не было ни къ чему никакой охоты. Сидя у меня, онъ попросиль дать ему листокъ бумаги и написаль въ мою неначатую кожаную тетрадку:

У СЕБЯ.

Дождались меня Вълыя ночи Надъ просторомъ густыхъ острововъ. Снова смотрять знакомыя очи, И мелькаетъ былое безъ словъ.

Въ дарство времени все я не вѣрю Силу сердца еще берегу, Роковую не скрою потерю, Но сказатъ «на-всегда» — не могу.

При мерцаніи долгомь заката, Предъ минутной дремотою дня, Что погибъ его свёть безъ возврата— Въ эту ночь не увёришь меня.

Нотому ли, что были обострены всё воспріятія, или на немъ самомъ уже лежала печать сонца, но стихотвореніе это возбуждало во мив мучительную госку. Безъ слезь я почти не могла его читать.

Зато совствить почувствовалось втяние того, что подходило къ нему, когда появились его последние стихи:

Вновь бѣлые колокольчики Въ грозные, знойные Лѣтніе дни Бѣлые, сгройные Тѣ-же они.

Призраки вешніе Пусть сожжены Здъсь вы нездъщніе Върные сны.

Зло позабытое Тонеть въ крови Всходить омытое Солнце любви.

Замыслы смёлые Въ сердцё больномъ. Антелы бёлые Встали кругомъ.

Стройно воздушные Тъ же они Въ знойные, душные, Тяжкіе дин.

Почему-то казалось, что ему уже тяжело дышать, что онъ все сказаль, и никогда ничего больше и не скажеть здѣсь.

Онь вь это время быль уже болень.

XV.

Смерть Соловьева была при обстоятельствахъ, до чрезвычайности характерныхъ для всей его жизни, какъ бы совершенно послёдовательнымъ завершеніемъ этой жизни.

Въ іюль 1900 года Владиміръ Сергвеннчь, продолжавній свои скитанія, повхаль нь князю С. Н. Трубецкому, который жиль это якто въ имкнів своего брята, московскаго предводителя дворянства, П. Н. Трубецкаго, въ его отсутствім, въ село Узкое, за Калужской заставой. Вхать надо было на лошадяхъ, жельзной дороги

туда не было. Дорогой на извозчикѣ онъ чувствовалъ себя такъ дурно, что хотѣлъ вернуться назадъ, но, по собственному разсказу, нодумалъ, что можетъ бытъ онъ умретъ, и рѣшилъ: ужъ если умиратъ, такъ, конечно, у Трубецкихъ, у княгини Прасковъи Владиміровны... И поѣхалъ дальне. Ему было такъ не хорошо, что онъ слегъ сейчасъ же, положили его въ кабинетѣ на дяванѣ. Тамъ онъ и скончался, проболѣвъ недѣли три. Положеніе его было признано сразу такимъ грознымъ, что съѣхались всѣ Соловьевы и жили у Трубецкихъ въ Узвомъ.

Я проводила лѣто, еще больная, съ родителями въ старинномъ подмосковномъ имѣніи князя Щербатова — Братцевѣ. Сена не разъ прівзжала ко миѣ.

Брать мой и любимый брать Владиміра Сергвевича Миханль были за границей.

Оть діагноза врачей создавалось впечатлівніе, что Соловьевъ умерь «оть старости» — въ сорокъ семь літь своей необывновенной, высокой и чистой жизни. Онъ все время быль въ памяти. Утромъ того дня, какъ потеряль сознаніе, причастился у містнаго священника.

Въ письмъ этого священника, напечатанномъ въ 1910 году въ «Московскихъ Вёдомостяхъ», вслёдствіе споровь о томъ, быльли Соловьевь тайнымь католикомь, говорится, что Владимірь Сергвевичь исповедывался съ «истично христіанскимъ смиреніемь», исповедь продолжалась не менёе получаса. Онь между прочимъ сказаль, что не быль на исповеди уже года гри, такъ какъ, исповъдовавшись въ последній разъ, поспориль съ духовникомь по догнатическому вопросу и не быль допущень имъ до св. Причастія. «А по накому, не сказаль, Только прибавиль: священникъ быль правь, а поспориль я съ нимъ единствение по горячности и гордости; послф этого мы перенясывались съ нимъ по этому вопросу, но я не хотвлъ уступить, хотя и хорошо сознаваль свою неправоту: теперь я вполнъ созпаю свое заблуждение и чистосердечно каюсь въ нечъ». Священникъ спросилъ, не припочнитъ-ли онъ еще какихъ-нибудь граховъ - «Я полумаю и постараюсь припомнить», - сказаль Соловьевъ. Священникъ предложилъ ему полумать и сталь собираться идти служить литургію, но онъ его остановиль и просиль прочесть ему разрешительную молитву, такъ какъ боялся впасть въ безпамятство. Священникъ исполниль его желаніс и пошель въ перковь служить объдню, откуда вернулся съ «объденными» св. Дарами. На вопросъ, не припомниль ли онъ за собой еще какого либо граха, — онъ отвъчаль:

 «Нать, батюшка,—я молился о своихъ грехахъ и просилъ у Бога прощеніе въ нахъ, но поваго пичего не приномнилъ». Въ этотъ же день Соловьевъ впалъ въ безпамятство и до самой кончены не приходилъ въ себя.

Передъ смертью онъ бредилъ и въ бреду между прочимъ моцился за несчастный еврейскій народъ. Скончался тихо, окруженный семьей.

Уже въ самое последнее время мне довелось слышать отв знаменитаго католическаго проповедника, автора книги о Соловьеве, что, по ниевощимся у нихъ документальнымъ сведеніямъ, Соловьевъ присоединился къ католичеству тайно и причащался у католическаго священника Н. Толстого. Побужденіемъ къ этому было то, что Соловьевъ будто бы былъ тоже тайно отлученъ Синодомъ отъ причастія, что лишеніе причастія очень угнетало его.

Отъ настоятеля каниской церкви, протојерея отца Г. Остроумова, который видѣлся съ Соловьевымъ въ послѣднюю его поѣздку за границу, незадолго до его кончины, — я слышала, что они много говорили о католицизмѣ и взглядѣ Соловьева на папскую власть, и Соловьевь сказалъ такую фразу: «Да, я созналъ тецерь, что много въ этомъ отношеніи увлекался».

Сопоставляя однако съ этимъ все, что говорилъ самъ Соловьевъ по новоду соединенія перквей, — не слёдуеть ли придти къ заключенію, что вопросъ о томъ, причащался ли Соловьевъ по «уніатскому обряду» или нёть, мёняеть мало сущность пламенной вёры, съ которой онъ прошелъ всю жизнь, и его принадлежность къ вселенскому христіанству, которому окъ служилъ.

Мнѣ приплось вхать съ княземъ С. Н. Трубецкимъ въ Дѣвичій монастырь, гдѣ похороненъ быль Сергѣй Михайловичъ Соловьевъ и мой брать, другь дѣтства Володи, — намъ поручили заказать ему могилу. Дорогой Трубецкой просто и грубо бранилъ даму, покорившую сердце Соловьева, такъ неожиданно и быстро на маскарадѣ. «Вѣдь сколько это силъ подорвало въ немъ», — мрачно говорилъ Трубецкой, самъ усталый и блѣдный, все сокрушансь о его судьбѣ. Потомъ окъ вдругъ спросилъ меня:

- А вы знаете, что Поликсена Владиміровна говорила ему о вась: «въдь воть женился бы на порядочной дъвушкъ, то-ли дъло, и жилъ-бы спокойно». А опъ отвъчалъ: «Ахъ, мама, пу какъ я могу на ней жениться? Когда она у меня почти на колъняхъ родилась»!....
- Знаю, отвъчала я и опять какъ бы ясно слышала звукъ его смъха.

Онт такъ и написаль мей на книжей стиховъ, которую подарилъ: «Родившейся у меня на колиняхъ».

Соловьева отпъвали въ университетской церкви, и тамъ я въ последній разъ увидела его. Блёдное лицо его съ непривычно,

совсёмы коротко остриженными волосами, еще блёдийе и чище и строже, чёмы при жизни, напоминало прекрасную византійскую икону. Было лёто, народу собралось гораздо меньше, чёмы было бы вы другое время; не было кажется рёчей — онё тяжело нарушили бы строгій характеры его простыхы похороны. Уже когда мы шли за гробомы по Пречистений кы Девичьему монастырю, д очутилась рядомы сы женщиной высокой, очень худой, изможденной, и узнала Е. И. Поливанову.

Я вдругъ спросила ее:

— Помните: «Въ былме годы любви невзгоды» . . . —

Она улыбнулась и отвътила быстро:

— Нѣть, нѣть, не говорите мнѣ . . . Я сейчась заплачу . . .

Были еще какія-то очень странныя, по простой терминологія «чудныя» жепщины, странно одітыя; профессора, Трубецкіе, Гольцевь, студенты... Были нищіє и знакомый пищій на дворянской фуражкі съ бакенбардами и краснымъ носомъ... Извозчики снімали на козлахъ шапки и крестились...

Похороненъ Владиміръ Сергвевичъ Соловьевъ около отца. На деревянномъ кресть его долго висвли — православная икона, перламутровый образъ изъ Іерусалима, и шитое шелками католическое изображеніе Ченстоховской Божьей Матери, которую онъ почиталь особенно, съ надписью по латыни. На памятникъ, который поставила Надя, — сестра его Поликсена захотъла непремънно, чтобъ была надпись «Ей, гряди, Господи».

Всв Соловьевы ушли.

Нервый послѣ Владиміра Михаилъ — умеръ при обстоятельствахь необычайныхъ: его жена застрѣлилась въ ту минуту, когда доктора подтвердили его смерть.

Грустиве всвух, казалось, была судьба Марін Сергвевны Безобразовой. Когда большевизмъ окончательно разметаль нась, старшая ея двочка, заболвишая психически, умерла. Мужъ—тоже, а она съ двумя младшими дочерьми пропала безъ ввсти.

Выль слухь, что и она умерла.

Съ Йоликсеной мы давно встрвчались ръдко. Послъдніе годы она жила на югь, въ Осодосіи, тамъ переживала большевизмъ, голодь, нищету и бользиь, безъ помощи и нужныхъ лъкарствъ. Уже изъ Москвы, изъ больницы, она прислада мит послъдніе свои стихи въ нисьмъ нашего общаго друга. Въ этомъ стихотвореніи передана вся безмърная тоска, выразившаяся въ тоскъ по лъсу, по его прълой, темной и душистой свъжести. Лъсъ она любила всегда особенно, больше всего. Я всегда вспоминала наше дътство, какъ мы, перейдя огромный ровъ, вошли съ ней около Мытанть въ въковой еловый боръ — Лосиный Островъ, въ его грозную, холодную въ жаркій день темноту, різко пахнувшую хвоей, и какъ она остановилась, очарованная.

Есть люди, за которыхъ не стращно, когда ихъ провожаешь къ могилъ. Таковы были они — Соловьевы. Это особенно странно в трогательно въ людяхъ, страстно любившихъ жизнь, землю, ея предесть. Пламенною любовью, духомъ Христа и непоколебимов върой въ въчность горъли ихъ сердца.

И можеть быть на вресть каждаго изъ нихъ следовало-бы написать великія слова, написанныя на кресть Владиміра Соловьева: Ей, гряди, Господи.

К. Ельцова.